

ЧАША КРУГОВАЯ

*литературно-
художественный
альманах*

№ 10

Издательство «АсПур»
Екатеринбург
2011

ББК 84 (Рос=Рус)4
Ч-29

Редакционная коллегия:
А.Б. Кердан, А.Б. Титов, Н.И. Коняев

В девятом выпуске литературно-художественного альманаха Ассоциации писателей Урала, вышедшем в свет при поддержке....

ISBN 978-5-904900-04-5

© Ассоциация писателей Урала

СОДЕРЖАНИЕ

И пробуждается поэзия во мне...

Владимир ВОЛКОВЕЦ	5
Галина ЦЕЛИЩЕВА	8
Борис НОСКОВ	11
Павел ЧЕРКАШИН	14
Александр КЕРДАН	16
Нина ЯГОДИНЦЕВА	21
Александр ШАЛОБАЕВ	24

О чем, прозаик, ты хлопчешь?

Владимир МОРОЗОВ	
Костява	29
Николай КОНЯЕВ	
Мальги	47
Светлана ВАСИЛЕНКО	
Город за колючей проволокой	56
Валерий МИХАЙЛОВСКИЙ	
Дурацкий вопрос	78
Лана ШАНГИНА	
Последний полет Шмеля	84
Евгения ГУТ	
Шок	89
Александр КОЗЛОВСКИЙ	
Накаркали	94
Марат ШАГИЕВ	
Страшная сила	98
Княз ГОЧАГ	
Юбилей в саду абрикосы...	110
Сергей КОЗЛОВ	
Сапоги	112

Рифма, звучная подруга...

Владимир МАЗИН	122
Федор ВОСТРИКОВ	123
Владимир ДЕНИСОВ	125
Ирина РЯБИЙ	126
Анатолий БЕЛОЗЕРЦЕВ	128
Владимир ИЗТЯЕВ	129

Марина АЛЕКСАНДРОВА	130
Владимир КОРОВИН	131
Евгений СТАРКОВ	132
Александр ОВСЯННИКОВ	134
Виктор КОЗЛОВ	136
Племя младое, незнакомое	
Елена КОЛЕСНИЧЕНКО	138
Евгений ЧЕРНИКОВ	141
Владимир УСТЮГОВ	142
Максим СЕРГЕЕВ	143
Василий АЛЕКСЕЕНКО	144
Александра МАЛЫГИНА	146
Анастасия ЖУКОВА	147
Яна ЗАВЬЯЛОВА	147
Елена ЖУРОВА	149
Валерия ВОЛОЖАНИНА	149
Даль свободного романа	
Арсен ТИТОВ	
Главы из книги второй романа «Одинокое мое счастье».	155
Меж ними все рождало споры	
Евгений ЖУКОВ	
О романе Александра Кердана «Крест командора»	180
Лола ЗВОНАРЕВА	
Победы и поражения командора	187
В гостиной встреча новых лиц	
Андрей ФРОЛОВ	191
Виктор МИЩЕНКО	193
Антонина СЫТНИКОВА	195
И назовет меня всяк сущий в ней язык...	
Мария ВАГАТОВА	198
Лана ШАНГИНА	199
Аида ХАРАТЯН	202
Друзья, прекрасен наш союз!	
Хроника Ассоциации писателей Урала	249
Сведения об авторах	251



И пробуждается поэзия во мне...



Владимир ВОЛКОВЕЦ

* * *

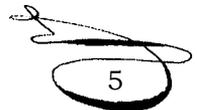
В безлистую пору предзимья
Бывают минуты, когда
Стоит в душе невыразимо
Томительная немота.

Забылись невзгоды былые
И радостей счет обнулён.
По лужам и хрусту полыни
Куда-то тащусь напролом.

Живой, не живой ли, – не знаю...
Господь, точно ведая путь
Над бездной, подвел меня к краю.
И дал мне в неё заглянуть.

* * *

Устоялись только к ноябрю,
По-сорочьи хриплые, морозы.
И заныли, вспомнили мозоли
Обувь прошлогоднюю мою.



Разминаю от носка до пят
Сапоги отечественной кожи.
Снег хрустит, а сапоги, похоже,
В унисон по-старчески скрипят.

То синицы вслед, то воробьи
Подчирикнут паре в перепалке.
И забавно в сумеречном парке
Сапоги выгуливать свои.

Лыжники скользят пробегут,
Сосенок качнутся треуголки.
Солнцем коронованные елки
Новогодних утренников ждут.

А когда в размятых сапогах
Теснота не будет ощутима,
На деревьях вырастет щетина
Серая, как на моих щеках.

МЕТЕЛИ

На Оби, где просторен разбег
Молодой снеговерти и стыни,
У метели стерляжий хребет
И восторженный вкус строганины.

А в столицах невнятен февраль –
Сыплет гарью и моросью дымной.
И метель, как последняя шваль,
Волочится за каждой машиной.

* * *

Да нам ли не ведать, как
На Севере благолепном
Просветы в березняках
Зима набивает небом!

Просторно живем среди
Озерно-лесного края,
Ни времени, ни страны
Великой не замечаю.

Листва опадет, как сон,
И видим сквозь елки-палки,
Как густо со всех сторон
Поднялись нефтекачалки.

И время страшит, когда
Устанет от нас природа,
Бетонные города
Начнут уходить в болота.

* * *

В костер, дымящий еле,
Горячего плеснешь
И вместо снега с елей
На плечи рухнет дождь.

И отшатнутся тени
От жадного огня.
Чем поделиться с теми,
Кто в стужу спас меня?

Густеет снежный холод
И ветер не утих.

Есть чай и хлеб, и повод
Подумать о других,

Кого не мог оставить
И сам в слепую ночь...
И вспыхивает память,
Снег обращая в дождь.

* * *

И ропот, и трепет, и рябь,
И сумрачный дух медоноса.
Откинешь упрямую прядь
Со лба, ожидая вопроса.

Раскатисто грохнет гроза
И я не услышу ответа.
И только сверкают глаза
Во всё оглушённое лето.

Галина ЦЕЛИЩЕВА

ПЫЛИНКА

*Тот, кто умеряет свой блеск,
уподобляет себя пылинке.
Лао Цзы*

Ненужная всем,
я – твоя половинка,
ушла насовсем,
превратилась в пылинку.
Сомненья долой,
вожделенья и страсти!

И нет надо мной
твоей пагубной власти.
И почести ложной
мне тоже не надо!
Зачем мне, ничтожной,
дары и награды?
Не буду зависеть –
меня не приблизить,
меня не возвысить,
меня не унижить.

* * *

Бьюсь об заклад,
наверно, было б лучше
идти вперед
и не смотреть назад,
в других влюбляться,
и не разбираться
бессмысленно,
кто прав, кто виноват.
Что жизнь одна –
заметить в оправданье,
что сладок вкус
нетронутой пыльцы,
и где-то за пределами сознания
в одно связать начала и концы.
Сварить кисель
и приготовить блюдо,
поставить поминальные цветы,
не выдержать,
и снова оглянуться,
и обнаружить:
всюду только – ты.

КУПЕЛЬ

Я бегу куда-то, поспешаю.
Всё проблемы! Не хватает дня.
Чувствую: другим бежать мешаю, –
обгоняют резвые меня.
Может, мне пора остановиться?
Выбрать место,
присмотреть купель...
Чья река – студеная водица?
Чьи стога?
Чей дом?
Чья колыбель?
Узнаю...
Вон там – за поворотом –
старый храм, а дальше – по прямой...
Темные тесовые ворота...
Мама, мама,
я пришла домой!

ДЕНЬ И НОЧЬ

Стоит ли выяснять
причину твоих поступков?
Нужно ли обещать,
когда не в силах помочь?
Не спорил, но никогда
ни в чем не шел на уступки...
И я превратилась в День,
а ты превратился в Ночь.
Теперь существуем мы,
встречаясь лишь в полумраке,
на линии света и тьмы,
на линии ночи и дня...

На горестный лик луны
тревожно воют собаки...
И день для меня уныл,
где ты позабыл меня.

БЕСПОЩАДНАЯ

Мой верный друг
отвергнут беспощадно
и изгнан, –
с глаз – долой, из сердца – вон.
Я, может, позову его обратно,
но никогда не возвратится он.
И как погибла дружба,
у которой,
мы были, что у птицы, –
два крыла?
Был друг – свидетель
моего позора.
Ему простить я это не смогла.

ГОЛУБЬ

Раденье. Все как у людей:
терзаемся сомнением,
как правоверный иудей
пред Светлым воскресеньем.

Доставит голубь от Него
послание в конверте,
чтоб не боялись ничего,
ни жизни, и ни смерти.

* * *

Обещал когда-то я, что вернусь...
Где-то здесь под липами отчий дом.
Лето, а завьюжила душу грусть,
И стоит она, словно в горле ком.

Я бы с нею выпил на брудершафт,
И вошёл бы в дом, что давно забыт.
Подмигнет мне зеркалом старый шкаф,
Половица дружески проскрипит.

Под гитарный звон здесь в кругу друзей
Выпит был вина не один стакан...
Здесь когда-то я повстречался с ней...
С той, с которой и без вина был пьян.

Здесь рождался стих в лабиринте строк,
И летел туда, где закат горит.
Дом с обрыва окнами на восток...
И душа по-прежнему ерундит.

Но не встретит визгами пёс-брехун,
И повиснет в воздухе мой привет,
Потому что гриф почернел без струн,
Потому что улицы больше нет.

* * *

За окном мелькают перелески,
За кормою пенится вода...

Как же неохота в день воскресный
Возвращаться в наши города!

Губы холодит солёный ветер,
Неба романтический альков,
И девчонка, лучшая на свете,
В венчике из первых васильков!

Мы опять с тобой, как на качелях,
И, похоже, вариантов нет...
Нам опять на целую неделю
Возвращаться в глупый интернет.

Слать пять дней друг другу эсмэски,
Говорить в онлайнe иногда...
Как же неохота в день воскресный
Возвращаться в наши города!..

**РАЗМЫШЛЕНИЯ ПО ПОВОДУ СТИХОВ
ВО ВРЕМЯ БЕССОННИЦЫ
В ЧЕТВЁРТОМ ЧАСУ НОЧИ**

*...Я вернусь, а Вас здесь больше нет...
Маргарита Чикалина*

И странный здесь последует рассказ,
какое небо здесь, и воздух, и окрас
домов и листьев... Снега в декабре
здесь не бывает. Только на заре,
чуть золотом окрасится восток,
волнение возникает между строк,
в исписанном до корок дневнике...
Позволь, я погадаю по руке,
И предреку счастливые года

и то, чему не сбыться никогда,
и кучу всякой милой чепухи,
чаёк с вареньем, детские стихи...
Но это всё, поверь, не для тебя,
всё это можно выдумать, любя
иль ненавидя. Только вот зачем
так много смутных образов и тем
ладонь в своих извилинах несёт,
и почему твой прерванный полёт
я вижу в свете меркнувшей свечи?
Не надо, дорогая, помолчим,
об этом вслух, увы, не говорят...
Все письма – бред, отчаянье и яд,
которыми питается поэт:
«Вот я вернусь, а Вас там больше нет...»

* * *

В старом городе Юность жила,
Поэтическим даром владела,
Но писать так, как все, не могла,
И как все, сочинять не хотела.
И она растворялась в стихах,
В сочетаниях слов неизбитых,
И витала в иных временах,
Вдалеке от постылого быта.
Но однажды открылся портал,
Временные разрушились вехи,
И она оказалась в мечтах,
В недалеком, но каменном веке.
И волшебное слово её,
Вспыхнув, сумрачный мир осветило!

И её, вереща, дикарьё
На костёр умирать потащило...

* * *

Первая изморозь, хрупкая, ранняя,
Словно мелодия тихая, дальняя,
Стылого воздуха музыка льдистая,
Радужно-светлая, хладно-искристая,
Отзвук канонный напева былинного,
Сказа волшебного, чудного, дивного,
Чистая нота, в безбрежность уплывшая,
Изморозь первая – песня застывшая!

* * *

Она была, была деревня –
Полсотни изб, Николы храм...
Теперь стеной стоят деревья
По шумным некогда дворам.
За чернобылем не сыскать
Людьми забытого погоста.
Отсохла память, как короста,
И время здесь не врач, а тать,
Разор творящий так неспешно...
Грустит безмолвная заря,
И плачет ангел безутешно,
Присев на остов алтаря.

* * *

Три иконы, крест нательный,
Что на цепочке стальной,
Строгий пост семинедельный,
Свет лампы в час ночной

Да ещё молитва к Богу –
Вот и всё, что нужно мне,
Чтоб приблизить хоть немного
Светлый день в моей стране.

МОЛИТВА

Ниспошли, Отец небесный,
На Россию благодать,
Не годи сей дар чудесный, –
Сколько можно ей страдать!

Обескровлена войною
И удавкой лагерей,
Русь отравлена бедою –
Помоги, Всевышний, ей!

Отче, пусть твоя десница
Снимет бед постылый гнёт,
Пусть Россия возродится
И веки не умрёт!

Александр КЕРДАН

СОРОК ДНЕЙ

К маме на погост пришёл, как в гости –
Стала матерью сыра земля,
Та, что я держал недавно в горсти,
Не слезиночки не оброня.

Горю трудно влагою пролиться...
За меня рыдают небеса!

Мне же остаётся поклониться
Той, чьей частью скоро стану сам.

Мама, жди! Мы встретимся, конечно,
Потому что невозможно врозь...
Эта жизнь, и правда, быстротечна
Как пропахший липой летний дождь.

* * *

На лужайке – мать-и-мачеха
С одуванчиками в ряд...
Мальчики играют мячиком,
Девочки на них глядят.

В каждой – притаилась бабушка,
Хоть и ходят в первый класс...
Расцветает мать-и-мачеха
С одуванчиками враз.

Пусть судьба порой обманчива,
Как весною зелены,
Мальчики играют мячиком,
Круглым, будто бы земля.

Как наивны эти мальчики –
Возраст здесь совсем не в счёт!
Разлетятся одуванчики,
Мать-да-мачеха растёт...

ЗАНОЗА

Жизни обычной суровая проза
Потяжелее свинца.

Будет всегда во мне, словно заноза,
То, что я рос без отца.

Что – погордиться мне им не удастся,
Так же, как в детстве не смог...
Жил он не громко, не нажил богатства,
Мне никогда не помог.

Нет, ни копейкой, а – словом, примером,
Памятью не поддержал.
И не оставил ни знаний, ни веры,
Имени даже не дал...

Я не сужу: не моё это дело –
Быть прокурором отца.
Но у занозы, что в сердце засела,
Два заострённых конца.

Первый – во мне, а второй – в моих детях,
Словно проклятье, навек...
Мы – за грехи наших предков – в ответе:
Все отвечаем за всех!

ДОРОГА ИЗ ЧЕЛЯБИНСКА

По спящим глухим перевалам
Я ехал – из дома – домой.
Державные сосны Урала
Качали рассвет надо мной.
Глаза раскрывали озёра,
Ресниц камышами шурша...
О том, что приеду я скоро,
Чуть-чуть сожалела душа.

Поскольку мгновения эти
Едва ли вернутся опять,
И станут другие рассветы
Подросшие сосны качать.

И станет другая дорога
Бежать, как меж пальцев песок...
И дней мне осталось не много,
И сделать не много я смог...

А сколько успею – не знаю...
И снова увижу ли, где,
Как пламень рассвет возжигает
В холодной озёрной воде.

Смогу ли такой красотою
Однажды наполниться вновь,
Когда будет время иное,
И новая будет любовь...

ДВА ОКНА

Утверждая законы любви,
Нарушая все эти законы,
У неё за окном – соловьи,
У него за окошком – вороны.

То свистят, то галдят невпопад,
Что любовь – безнадежная штука,
Что цветение и листопад
Никогда не поверят друг в друга.

Вместе быть им, увы, не дано:
Даже думать об этом нелепо...

Но и то, и другое окно –
Оба смотрят в открытое небо.

ЧЕТВЕРТОЕ ИЮНЯ

Болдино нас встретило дождём,
Будто объясняя фактом этим,
Как здесь было сумрачно поэту
В миг, когда он страстно был влюблён.

А наутро расступилась хмарь,
Что качалась над землёю зыбко.
Щедрое, как гения улыбка,
Солнце тотчас высветило даль,
Рассиялось,
 будто говоря,
Что грустить – занятие пустое,
Даже, если ты влюблён, будь стоек:
Все преграды нам даны не зря!

Счастье есть!
Сомненьям вопреки –
Солнечного праздника во имя –
Грусть, конечно, будет исцелима
Вдохновеньем пушкинской строки...

* * *

Так не бывает,
Но так получилось,
Словно иначе и быть не могло:
Солнце не скрылось,
Луна появилась,
Росы, как звёздное серебро,

Пали на травы.
Природа примолкла
На пограничье
Меж ночью и днём.
Даже стрекозы застыли,
Как стёкла
В калейдоскопе
Забытом моём...

Чтоб, оказавшись
С тобою вдвоём,
Мы породнились на миг
С тишиною
Пересечённых случайно дорог...
Так не бывает, чтоб –
Солнце с Луною,
И чтобы звёзды
Мерцали у ног...

* * *

Мы – пыль погибших звёзд...
Не потому ли
Всё время отыскать,
Узнать желаем
В другой душе
Родной звезды частицу,
Чтобы поверить
Хоть на миг единый,
Что всё же мы
Совсем не одиноки
Среди пылинок прочих
Во Вселенной...

* * *

В терпких, вороньих, ворованных сумерках,
Словно в замызганных клетчатых сумках, –
Яблоки, яблоки, солнечны, крутобоки:
Смятые листья, надорванные оборки,
Синее кружево с тёмною позолотой...

Вспомни меня в саду Твоём за работой
Дотемна, до вороньих, до сладкой усталости –
В августе, Господи, когда яблоки выспели,
Ветви от тяжести вытянулись до хруста
И невозможно печалью не задохнуться.

* * *

...Издали – как чужая –
Но до мельчайших трат
Я знаю тебя, я знаю,
Как будто прошла стократ

Парадом твоих безумий
В лохмотьях твоей парчи –
В те поры, когда Везувий
Возвысился в палачи

И в жажде не кровной мести,
Но права вершить закон,
Облизывал соль созвездий
Пылающим языком...

* * *

Июльский ливень лип, рискующий пролиться,
Держащий на весу немислимую цветь...
Как слёзы на глазах наивного провидца,
Сквозь молодую жизнь увидевшего смерть.

Всё камень и металл – но липы вдоль проспекта,
И предвечерний час – над ними, на весу.
Всё музыка вокруг – и ничего не спето,
И я иду одна и музыку несусь.

Вот-вот сорвёт струну растерянного взгляда,
Вот-вот обрушит мрак и ливень разольёт,
И цвет собьёт в траву, и жёлтой каплей яда
Горячая луна над городом взойдёт!

Но если удержать, не покачнувшись, если
Всей музыкаю стать, всей дождевой водой,
Опомнишься: они из вечности воскресли
Для радости твоей, со-бытия с тобой.

* * *

Она горит, свеча-невольница,
И заслоняется рукой:
Ей долго-долго будет помниться
Лоскутный сумрак городской

И эта рыхлая обочина,
Забрызганная дочерна,
И эта ночь, где между прочими
Она случайно зажжена

Не то обидою вчерашнею,
Не то грядущею бедой...

Она уже почти погашена
И умирает молодой.

Её зрачки – сплошное зарево,
И пепел – прядями волос.
И плоть её – бессильный воск –
Едва ли отольётся заново.

* * *

Тайная жизнь одиноких деревьев полна
Шёпота, шелеста, полупрозрачного гула...
Словно в забытый колодец душа заглянула
И не увидела дна.

Там, в глубине, обретая родные черты,
Имя и голос, одежды из ветра и света,
Что-то волнуется, плещется, ищет ответа –
И осыпается белой пылью с высоты...

Очи деревьев темны и замкнуты уста –
Небо своё обживают они бессловесно.
Нас прижимает к земле многозвёздная бездна –
Их, словно мать, поднимает к лицу высота.

Это они, погружаясь по грудь в забытьё,
Как невода, заплетают немymi ветвями
Чистое, гулкое, неумолимое пламя –
Нежное и невесомое пламя Твоё.

* * *

Я жизнь твою, я сон твой безымянный,
Припоминая спутанный к утру.

Не окликай Мариной или Анной –
Без имени умру!

Я жизнь твоя – уже ненужный воздух.
Пыльца на крыльях смятых. Детский страх
Не быть. Я твой попутчик в поздних,
Непоправимо поздних поездах.

Под утро просыпаешься – пустое
Купе, сквозняк, озноб и тишина...
Я жизнь твоя – я ничего не стою,
Сама себе цена.

Александр ШАЛОБАЕВ

СОЛДАТ

Толкнуло в грудь, когда он вылезал
Из чавкающей мартовской траншеи.
И с пулей ветер в лёгкие попал,
Минуя горло, бронхи и трахеи.
И вот, когда он начал умирать,
Увидел вдруг: сидит на лавке мать,
И на цветастом выцветшем подоле
Измученные вены и мозоли.

* * *

Привычно обходя растяжки,
Болтая жестами хвостов,
Три иностранные дворняжки
Спешат с проверкою постов.

Открою им «Минтай в томате»,
Из банки вывалю на лед,
И лунный блик на автомате
По сердцу холодом лизнет.

Измазав шерстяные морды
В томатной пасте, как в крови,
Собаки преданно, но гордо
Посмотрят вдруг на шурави.

От окровавленных оскалов
По телу пробежит озноб.
Я буду слушать плач шакалов,
Мучительно борясь со сном,

Я буду наблюдать во мраке,
Упрятав огонек в горсти,
Как движется туман в овраге,
Пытаясь ближе подползти,

Единоборствуя со страхом,
Почувствую до тошноты,
Как пристально Христос с Аллахом
Следят за мною с высоты.

ИГРА В ВОЙНУ

Двор акациями был окружён.
До зубов я был вооружён.
И ведь знал я, кто за мною следит!
– Падай! – крикнул Владька, – Падай! Убит!
Я упал и оставался лежать.
Через двор идут отец мой и мать,

Словно боги с золотом в волосах:
В прахе ноги, головы – в небесах.
Вот подходят и становятся в ряд:
– Что лежишь ты, Саша, – мне говорят,
С дрожью в голосе я им отвечал:
– Я убитый, я убит наповал.
Через двор бежал я наискосок,
Пуля Владькина попала в висок,
Как июньский металлический жук.
Я упал, и автомат – вон из рук.
– Не беда, – мне отвечает отец, –
Досчитай до десяти, и конец,
И вставай, и можешь бегать опять,
Не до вечера же будешь лежать.
Я скорей до десяти досчитал.
Досчитал до десяти я и встал,
Так по младости и не осознав,
В чем отличие войны от забав.

* * *

Мне жаль поэтов, ведь у них
Нет ремесла в руках
Другого, и всю жизнь они
Витают в облаках.

Руками машут и кричат,
Взмывая в небеса,
И белизну им облака
Вплетают в волоса.

К иным, высоким берегам
Зовет их звездный путь,
Но шар земной прилип к ногам,
Его не отряхнуть.

К земле прикованы судьбой,
А мыслями – вдали,
Летят, и тянут за собой
Тяжелый шар Земли.

* * *

Струится ровный тонкий ветер,
Каким его изображают
На разворотах детских книжек.
Как шелк прохладен и подсвечен
Мерцаньем солнца золотистым
На тонких лезвиях зеленых.
И ветер лезвиями листьев
Разрезывается на ленты,
И ленты льются водопадом
На зелень мокнущих акаций
И на ветвях ее веселых
Сплетаются в большие банты.

* * *

Я увидел твой профиль на фреске остывшей Помпеи...
В час вечернего солнца, когда оно склонно к закату,
Облака над Везувием шли все темней и темнее,
Зависали над ним, а потом уносились куда-то.

Двадцать лет покорял я Британию, жаркие Ливы,
Я устал от сражений, а впрочем, при чем тут сраженья,
Я вернулся сюда, к тихим водам родного залива,
И в зеркальном заливе свое не узнал отраженье.

До заката бродил я по городу, шарил глазами,
Но подошвы сандалий вздымали лишь пепел и жалость.

И стемнело. Я вышел на площадь, и встал я, и замер:
Ничего не осталось. Почти ничего не осталось.

Лишь в развалинах древнего храма, что прочих стройнее,
Где вдоль трещин карабкался плющ
напряженно и зыбко,
Я увидел твой профиль на фреске остывшей Помпеи
И узнал отрешенность непонятой мною улыбки.

Что мне делать теперь? А восток уже красками залит.
Позади оставляя холмы или плоские крыши,
Позади оставляя дворцы или глыбы базальта,
Под роскошным рассветом я тихо из прошлого вышел.

* * *

Увидел паутину поутру
В углу прихожей. И когда успели!
(Пример того, как ежедневный труд
Способен покорить любые цели).

Но в ход пошли и тряпка, и вода,
И насухо протер – тут не до лени!
(Пример того, как некая беда
Свела на нет усилия поколений)...

ДЖАЗ

Звук из саксофона выпал,
Словно из гнезда птенец,
И попал тотчас в тенета
Двух проворных пауков,
Что сплетают паутину
В дебрях черно-белых гамм.

Старый негр заблудился
В среднерусской полосе,
Будто грел дыханьем руки,
Подышал в металл трубы.

* * *

Выходят в ночную смену
Сварщики без капризов
И, помахав брезентом,
Прыгают в небеса.
Там, полетав рассеянно
Возле антенн и карнизов,
Птицами сядут на ветки
Где-то в немых лесах.

С ногой, привязанной к гире
Ведомственных инструкций,
Мастер их держит взглядом,
Чтобы не сорвались.
Два одиноких сварщика
В дёбрях стальных конструкций
Что-то печально варят,
Искры ссыпая вниз.



О чем, прозаик, ты хлопочешь?



Владимир МОРОЗОВ

КОСТЯВА

Костявой называют местные жители лесное болото между деревнями на широкой проезжей трассе и поймой большой реки. Хотя если уж быть точным, болотом тот лес назвать никак нельзя. Ведь стоит произнести это жутковатое слово, как видятся сразу глубокие ямы, заполненные липкой грязью. А поверху – трава. И не подумаешь, что под ногой бездна, пока не ступишь на жидкий травяной полог.

Тут уж кричи, не кричи, – засосёт с концами. Если, конечно, нет рядом верного товарища.

В Костяве этакого страха не встречается. Трава там есть, кочки, вода между кочками. Грязь тоже.

Хоть и липкая, да всего по колено. По шейку, допустим, или, там, по грудь, проваливаться не приходилось. Разве что в канаву.

Зато кругом, если не грязь, то вода. Не то что посидеть, котомку положить некуда. Приходится на сучок вешать.

По кочкам и между ними растут на Костяве берёзы, осины да чахлые ёлки. Берёзовый век не долгов, а тем более в сырости. Потому завалена та болотина сплошь валежником.

Так что бродить по Костяве напрямки – далеко не сахар. Одно спасение – высокие сухие гривы-веретья. Растут на веретьях сосны и брусника. Там-то уж хватает места не только котомку положить, но и самому посидеть с комфортом. Папироску выкурить.

Да больно редки те гривы. Пока до сухого доберёшься, сапоги вдрызг изорвёшь. Себе дороже.

– Почему Костява? – спрашиваю у лесника Володи.

– Да чёрт его знает, – отвечает. – Костява и Костява. От дедов так идёт.

От дедов-то от дедов, а мне непонятно. Название-то очень уж необычное. Сухое такое, звонкое.

Для лесного болота никак не годится.

Чуть дальше такая же болотина имеется. Та прозывается Шахрой.

Шахра – названьице в самый раз. Здесь ухо слышит свист ненастья в сухой осенней осоке. Есть тут и чавканье сапога в жидкой грязи, и влажное хрупанье под каблуком перепрелого валежника.

Да и вообще, дикое название и непролазное. Для болотины самое что надо. Костява же – пело, как мачтовые сосны на высоком весеннем ветру. Было в нём что-то от вибрирующей дятловой трели. Словно удар старой костью по засмоленому сосновому суку.

А может, – думаю, – тут побоище когда-то было? Может, тут в траве под кустами всяких там скелетов полным-полно валяется?

И я с опаской стал приглядываться к тёмным зарослям прошлогодней травы. Вдруг да мелькнёт белизной какая-нибудь заплесневелая мостолыга!

Так и ходил с оглядкой всё лето. Но костей, кроме пары прошлогодних лосиных рогов, а тем более позеленелых скелетов, не сыскал.

В августе трава в Костяве стала багряна от гроздей ягоды костяники.

Вот тебе и разгадка.

С той поры за студенистой костяницей на желе и компоты только сюда и хожу. Правда, и по бруснику тоже.

В сосновых борах по сухим веретьям её страсть сколько много.

ПЯТАЯ БОКОВАЯ

Весь лес на Костяве вдоль и поперёк изрыт канавами. Зачем их нарыли, не знаю. До меня дело было, а, может, и совсем до войны ещё. То ли торф добывали, то ли лес пытались осушить, или за какой другой непонятной мне надобностью.

Можно бы, конечно, у лесника Володи спросить, да его ответ зара-

нее известен: «А чёрт его бабушку, – скажет, – знает. Надо было, вот и нарыли. Дед, помнится, мне рассказывал, да я забыл. Помню только, что старые канавы руками вырыты. Это дед точно, помню, говорил».

Так что не знаю, чего у них там, у дедов, получилось, но канавы остались. Заилились, правда, со временем обмелели и деревьями заросли.

Мало того, на готовенькое пришли в лес бобры и канавы перепрудили. Поднялась вода, совсем Костяву затопила. Только по насыпям вдоль канав и можно пробираться.

По тем насыпям и ходят через Костяву в пойменные вятские луга. Весной и летом на луговые озёра – за рыбой. Осенью на те же озёра и канавы – за утками.

Торная дорога на луга, ясное дело, есть. Свободно на легковушке про-едешь. Да не люблю я проезжих дорог. Пыль, чад и никакого удовольствия. Потому и бегаю пешком напрямки.

Сперва от деревни минут двадцать полем, потом полчаса бором. А там и Костява. Минут десять по грязи до канавы, и по насыпи до лугов сорок минут хорошего хода.

На машине по дороге в объезд за полчаса добираются, а я по жаре два часа ногами шевелю. Зато чего только не повидаю по пути.

Канавы вдоль которой я хожу, называется Пятая боковая. Выходит были и Первая, и Третья. Седьмая точно была, наверняка знаю. Она и сейчас есть, да называется уже иначе.

Вот ведь, кто канавы вырыл и зачем, люди не помнят, а названия старые остались.

Ручей в Пятой боковой, перепрыгивая через бобровые плотины, пересекает всю Костяву и выводит на луга.

Там он сливается с водой другой канавы – Язельницкой. Бывшей Седьмой боковой.

Язельница – канавы большая: широкая и полноводная. Да и как ей быть мелкой, ежели она отрезает Костяву от лугов и собирает с болота воду всех остальных канав. И Пятой боковой, и потерянных Первой и Третьей.

Собирает и уносит в Язельницкое озеро. Только нам на озере делать нечего. Потому как все истории, описанные в этой книжке, случились на пути из деревни к лугам.

Двадцать минут полем, полчаса бором, десять минут по грязи, да сорок насыпью вдоль канавы.

Ну а коли что интересное попадетсЯ, так, бывало, и полдня до лугов добираться приходилось.

ЯЗЕЛЬНИЦКИЕ ЯЗИ

Лишь раз в году, в половодье, ручьи в канавах поворачивают вспять. Полая вода подпирает Язельницу и по канавам поднимается в лес.

Вместе с нею поднимаются стайки язей. И пока не подойдет муть речного разлива, можно отчётливо видеть в мелкой и чистой ещё воде канав больших широколобых рыб.

Лесник Володя ловит язей маленькими квадратными сетками. Сетки связаны из рыболовной жилки и, смотря по настроению, Володя называет их то «японками», то «телевизорами». Бросит сетки в канаву и уходит по своим делам. Делает чего-нибудь или просто по лесу ходит, собирает первые грибы сморчки да строчки. А через время обратно на канаву.

Собрался как-то за компанию и я с ним посмотреть те «телевизоры». От Язельницы по Пятой боковой стояло их шесть штук и в пяти было по рыбине.

Четыре язя, пятый – крутобокий линь.

Мы выпутали рыб из ячеек и уложили рядком на просохшем пригорке.

Язи поначалу резво дёргали хвостами, пуская чешуёй нам в глаза блестящие зайчики. Но скоро вывалялись в травяной трухе и уснули.

Они лежали, тускло светя белыми животами, тяжёлые и солидные даже на вид. Словно бруски паяльного олова.

Линь, наоборот, всё ещё продолжал вздрагивать и поводить кроваво-красными плавниками. Солнце плавилось в слизи на его боку, и на вид рыбина казалась горячеей.

– Странно, – отметил я как бы про себя. – Странно, – говорю, – пять рыб и все как на подбор. Одинаковые.

– Да, чего странного-то, коли ячея такая, – обронил Володя, добывая из сумки пакет с обедом.

– Что ячея? – не понял я.

– Дак я тебе что и талдычу. – Володя вытащил, наконец, пакет, развернул его и выудил половинку солёного язя, два крутых яйца и горбушку хлеба. – Ячея, говорю, такая – пятидесятка. Сторона у неё как раз на спичельный коробок. Самое то языки идут: от кило до полутора. Была бы тридцатка, мелочь бы пошла: сорожнешка всякая. Да я не люблю её, мелочь-то, кадовушку. Жидковата получается. То ли дело языки, да по сухому.

Кадовушкой Володя называл всякую рыбью мелочь в рассоле. Сам он солил только по-сухому. Под гнетом.

Возьмёт деревянный ящик, уложит на дно слой язей и посыплет крупной, будто дробь четвёртого номера, серой солью. И так до верху: язи – соль, соль – язи.

Наполнит ящик, тряпицей укроет, крышку наложит и каменюкой придавит. Гнетёт камень крышку, та на рыбу давит. Лишний рассол уходит сквозь щели в землю. Рыба получается как бы чуть подвяленная. Мякоть упругая и в меру просолёная. Вкуснотища! Что там язык, собственные пальцы откусишь, проглотишь и не заметишь.

– А если, – говорю, – ячею не пять сантиметров взять, а десять. На два спичечных коробка! Тогда, поди, можно будет и килограммов на пять язя выцепить!

– Можно-то можно, да нужно ли? – засомневался Володя. – Жди, когда он в нашу канаву заползёт. Может, месяц ждать придётся. Так весь разлив жданки прождёшь и без языков останешься. Да и не просолет он, большой, в ящике. Скиснет. Такого коптить надо, а у меня копилки нет.

И мы долго сидели, жевали солонинку с хлебушком и запивали чаговой заваркой. Костерок прогорел и тихо дышал из-под пепла редкими угольками.

Иногда вдоль канавы проскакивал ветерок и подхватывал хлопья серого пепла. Так же внезапно ветер падал, и серые пепельные мухи плавно ложились на пригорок, пятная сухую траву и рыбу на ней.

Подсохшая чешуя язей пепел не задерживала, а вот линь скоро потускнел. Подёрнулся золой, будто отгорелый костёр. Лишь плавники всё мерцали тёмно-вишнёвыми угольками. Стали мы с Володей собираться.

– Бери, – пододвинул он мне линия с язём.

Я замешкался. Одно дело смотреть, как какой-то там мужик, пусть и знакомый, ловит рыбу в запрещённое время запрещённой снастью и совсем другое дело эту рыбу брать.

Володя понял мое смущение. Сам завернул улов в пакет.

– Дают – бери, бьют – беги. В магазине такой, небось, не купишь, а на рынке одна собачатина.

– Как собачатина? – испугался я.

– Обыкновенно, – рассмеялся Володя. – Цены-то кусаются, вот и собачатина!

Он сунул пакет с добычей мне в котомку.

– Бери, бери, не жмурься. А то понагородили везде запретов: это нельзя, то не возьми, сюда не ступи. Просто мужику и с одворицы не сунься!

Сами-то, поди, мешками таскают. Нет, брат, шалишь! – и Володя погро-зил неведомым «самим» пальцем.

Уха из подарка получилась густа и навариста. И хотя лишь отдавал тиной, мы ели да нахваливали.

Да и в самом-то деле, если «им» можно, с какой стати мне нельзя?

ЧАГОВЫЙ ПАЛЕЦ

Когда берёзы вдоль канавы были малы и тонки, у одной кто-то сломил верхушку.

Видимо, брёл комариным июньским вечером прохожий человек и ободрал деревце на веник. Отмахиваться от кровососов.

А когда вышел в дуга на ветерок, выкинул ветви за ненадобностью.

Может, конечно, всё произошло гораздо иначе.

На знобкой декабрьской заре выбрался на канаву из лесу длинноногий лось. Зверь скусил маковку и долго пережёвывал тонкие ветви, тряся серьгой на горле.

Второй случай был гораздо интереснее. Что человек, мало ли нашего брата – прохожих – шляется по старой дороге.

То ли дело лось!

Я представил, как стоял он на этом самом месте, поводил ко-

молой головой и смотрел сквозь заиндевелые ресницы на красную бляху морозного солнца. Так что, пускай лось и остаётся. А то много чего ещё можно напридумывать.

Весной проснулись берёзовые корни и пустились качать влагу из почвы. Гнать к вершинке живительные соки. Сладкая берёзовица вытекала через слом и скисала розовым пенным суслом.

Не засохло деревце. Пустило вверх боковую ветку и догнало приятелей. Единственно, кривинка осталась.

Да, видно, занесли насекомыши, любители полакомиться берёзовым соком, какую-то заразу. Пророс сломыш ствола грибом-чагой. Издали глянешь, словно большой чёрный палец торчит.

Я зачерпнул в канаве воды, сломил и бросил в котелок чаговый палец. Потом долго сидел, осторожно отхлебывая из кружки дегтярно-чёрный взвар. Чаговая заварка явственно отдавала смолкой мороженных берёзовых почек, и чудилось мне, как позванивают сосульки инея на нелепой лосиной губе.

ЛИСКИН ПОДАРОК

Какая она, роса летом, каждый знает. Водица на траве – и всего делов-то. Роса на листьях травы каплями. Мелкими-мелкими. Каплями-то, пожалуй, даже и назвать грех. Так, крапинки какие-то.

Капки малюхонькие.

Сидят густо-густо. Почти впритирку. Едва друг с другом не сливаются.

Чуть травинку заденешь, и – потекло. Капка за капку цепляются, – сливаются. Вместе вниз катят и другие по пути подбирают.

Только что была травинка от росы серая, будто седая, и на тебе!

В один миг на глазах полиняла. Потемнела зеленью.

Так что, летняя роса – та же пороша.

Бежит зверь по поляне, траву лапами мнёт. Шевелятся травинки, трогаются капли с насиженных мест. След за зверем остается знатный.

Тёмно-зелёное на седом, что чёрное на белом. Издали видно. А ближе подойдешь, и направление узнаешь. В какую сторону травинки примяты, туда зверь и ушёл.

Тропи, себе, сколько влезет. Изучай, если интересно, скрытную звериную жизнь.

Главное, успеть вовремя. Пока не поднялся ветер, травинки не колыхнул. Пока солнце горячим языком капли не слизнуло.

Я вот в самый раз успел. Едва на насыпь вдоль Пятой боковой выбрался, на тебе: след. Мне было по пути, и я пошёл рядом.

След был совсем свежий. Травинки, примятые лёгкой лапой, распрямлялись на глазах, и мне стало любопытно.

Интересно, – думаю, – кто тут бродил?

Особо выбирать было не из чего. Это могли быть только лиса или енот. Хотя лесниковского Дика тоже исключать не следовало бы. Летом Володя своего кобеля не кормил.

– А зачем, – отвечал он на мои упреки. – Нечего дармоеду потакать. Вот сезон наступит, на охоту пойдём, тогда и накормлю. Если заработает, конечно.

Пёс был способным и по соседям не побирался. Шастал Дик целое лето по окрестным лугам да лесам и драл всех подряд.

Зато и на охоте равных ему не было. Хоть на рябчика, хоть на лося. Что ни говори, а квалификация – великое дело.

След миновал столб на перекрёстке канав, и Дика я отбросил сразу и бесповоротно. Уж кого-кого, а володиного кобеля я знаю. Тот бы ни в жизнь мимо не прошёл. Обязательно бы лапу поднял и столбик сбрызнул.

Такой уж он есть. Ни одного столбика, пенька или кочки не оставит без внимания. Непременно оросит. Может, надеется, что прорастут?

Оставались двое.

Енота я тоже вскорости отчислил. Слишком уж ровной и целеустремлённой была строчка следа. Будто опытная швея прострочила на машинке.

Енот бы ни за что не удержался, чтоб в канаве под кустами не поползать. Не та у него натура.

А лису я углядел сразу за следующим поворотом. Да только и она меня тоже заметила. Скользнула в кусты над канавой.

Пошёл я по следу дальше и в том самом месте, где лисья стёжка свернула в канаву, углядел пять красноголовиков-подосиновиков.

Стояли они прямо на дороге. Самый большой не выше спичечного коробка, а остальные, вообще, мал-мала-меньше.

Зато шляпки у всех – густой кармин. Точь-в-точь лисий мех в красных лучах восхода.

СЛАСТЁНЫ

В Костяву я ходил через ржаное поле. Утром туда – в лес, вечером обрат-но – домой. И мне было видно, как тяжелеют, с каждым днем наливаются упругой силой усатые колосья.

Сейчас, в августе, стебли ржи уже не мотались под ветром туда-сюда, а качались мерно и в такт. От этого казалось, будто поле плывет плотными литыми волнами.

Бор встречал меня рябинками. Четыре рябиновых дерева росли на самом краю поля, далеко оторвавшись от лесной опушки. Тропка пробегала рядом, и рябинки шёпотом листвы приветствовали меня каждое утро.

Проходя мимо два раза в день, я видел, как вместе с колосьями вызревают, наливаясь солнцем, рябиновые кисти. Как тяжелеют они, всё сильнее сгибая тонкие ветви.

С некоторых пор вместе с рябинами меня начали встречать сороки. Их было семь штук, – как раз выводок. Ещё издали я замечал белые птичьи бока среди зелени и румянца рябиновых ветвей.

Когда я приближался, сороки вспархивали. Стрекоча, они перелетали в лес и рассаживались по острым маковкам ёлок.

Стоило мне пройти рябины, птицы покидали наблюдательные посты и перелетали обратно. Всё ещё переговариваясь, они принимались склёвывать рубиновые ягоды.

Однажды я вышел на опушку во внеурочное время. Это была третья суббота августа – день открытия охоты. Солнце стояло в зените, и было жарко. С рассвета я успел досыта набродиться, и потому копна сена под можжевельным кустом на опушке оказалась как раз кстати.

Я лежал, отдыхая, вдыхал пряные запахи подсохшей травы и можжевельных иголок, смотрел на облака. Прямо надо мной облака встречались редко. Дальше к горизонту, за рябинами, они шли чуть гуще. Словно клочки тех облаков, в зелени рябин мелькали белые сорочки бока.

Сороки, по своему обыкновению, качались на гибких ветвях и умиротворенно переговаривались. Сытый сорочий говорок вплетался в звонкий треск поздних кузнечиков и не казался лишним. Сами собой сложились строчки стихов:

Август – отрада охотника,
Август – утеха мужчин,
Выстрел развесил по просекам
Гроздья картечи рябин.

Я уже поймал строй стихотворения. Оно было грустным и цветистым, как проводы лета – осенины.

Оно уже пульсировало во мне, только бы не мешать! Но чёрт дёрнул достать бинокль. В сорочьей трескотне было что-то непонятное, а что, издали я не видел.

Оптика всё поставила на места. Сороки клевали ягоды только на одном дереве. Когда загадка под носом, – не до стихов.

«Как так? Почему не знаю? Почему до сих пор не замечал? А ведь за день по два раза проходил», – корил я себя.

И впрямь, на других деревьях ягоды не мельче и такие же красивые. Уж не на вкус ли они разнятся?

Ягоды и правда отличались. На деревце, облюбованном сороками, они заметно сластили. На других были горькими и суховатыми.

Я вернулся под куст. Снова смотрел на облака, слушал кузнечиков, но стихи не возвращались. Вместо стихов на ум приходили сороки.

Вот ведь сластёны какие, разбираются!

ЛЕКАРСТВО ДЛЯ РУЖЬЯ

Случилось вдруг так, что моё доброе старое ружье стало жить.

Вроде, и я тот же, очки не менял, и патроны так же заряжаю. Но, что ни выстрел – обязательно подранок.

Ладно ещё, коль добьёшь-добудешь, урону нет. А как улетит задетая тяжёлой дробью птица...

Умирает потом медленно и трудно, мучаясь от боли и бессилия. Слезы, а не охота.

Поделился я своей печалью с давним знакомцем – человеком бывалым, знатоком таинственных примет, знаков и обычаев, чтоб хотя б советом помог мне поправить верного товарища по лесным и болотным кочевьям.

«Есть против твоей печали верные средства, – заявил в ответ приятель. – Если вынуть из трёх воронов и трёх кротов сердца, пережечь их в пепел и потом смешать этот пепел с порохом и дробью, то ни один ружейный выстрел не пропадет даром. А можно и без живоде́рия, хотя, как в охотничком деле да без невинной кровушки. Возьми травы колюки, собранной в Петровки на вечерней росе, засуши и храни в бычьем пузыре. А как возникнет надобность, – окури ружейные стволы заготовленным зельем. Станет оно не только метким, но и не поддастся худому слову лихого человека. Впрочем, Петров день ныне уже минул, зато время брать пан-дерево – листья шемаханские, трости бухарские, когти супостатские. Чертополох, то есть».

Наказал мне знаток, а разговор наш случился в понедельник, на второй день, в среду значит, истопить с вечера в избе печь, а в четверг на самом восходе распалить в огороде теплинку и дымом чертополоха окурить воронёные стволы.

Как было сказано, так я и сделал.

Печь в избе протопил с вечера – так, что спать пришлось уйти в сени. На утре распалил за двором костерок, и когда пламя разбежалось, подбросил в него подвяленных листьев и стеблей чертополоха.

Стволы тем временем от ложа отстегнул и пристроил над костерком. Пламя хоть и разыгралось, да трава сыровата – дым так и повалил. Я стволы и так в едкий дым суну, и этак.

Копчу, будто свинячий окорок.

Дым валит стеной и на стволы, и в мои глаза.

Опять слёзы.

Пока щёки отирал, тут и знахарь мой подошёл. Взял стволы, сбोक в дым сунул и шепнул что-то тихонько.

Тут же дым над костерком свернулся спиралькой и нырнул в отверстия патронников. Стоит мой знакомый бывалец над костерком, стволы в руке держит, а из них дым двумя струями, словно из паровых труб.

После заставил меня горячей водицей, что томила в чугушке в

печном челе, промыть стволы, вытереть, подсушить и, завернув в рукав от овчинного тулупчика, устроить на печь.

На горячие кирпичики.

Целую неделю потом я топил печь каждое утро, не глядя, что теплынь на дворе. На охоту, ясное дело, не ходил.

Пришёл срок, стащи я свёрток с печи, развернул овчинку, стволы вынул, ружьишко собрал и в лес.

И что бы вы думали! Не знаю уж, что конкретно поспособствовало: чародейский ли дым, властный ли шёпот, или ровное спокойное печное тепло. Только совсем иной колленкор. Что ни выстрел, то – есть.

Дичь тут же замертво валится. Случается, конечно, что и промажешь, – лупанёшь в белый свет, как в копеечку.

Так ведь и на старуху бывает проруха.

ИГЛОДЁР

Гуляет по Костяве ветер-листодёр. Широко шагает по просекам. Вьётся над канавами желтобокая заметь-метелица.

Частым гребешком проходит ветер по сосновым вихрам на веретях. Ветер тот же, а название другое.

Листу на берёзе жизни всего одно лето. В мае появился, в августе подсох, в сентябре совсем отпал.

Хвоинки на сосне полноценно живут два года. К осени третьего, – желтеют. Посмотришь на сосну в начале сентября, а она пёстрая.

На две трети зелёная, на треть жёлтая. Самое время для ветра-иглодёра. Качнёт сосну, скрипнут, изгибааясь, ветви, посыплются иглы золотистым колким дождём. Валятся куда попало.

Пока сидел на веретье, перекусывал, натряс мне разбойник ветер в корзину сухой хвои столько, что и грибы прикрыло.

А у меня и обеда-то было минут на десять: одно крутое яйцо, одна луковка, четвертинка молока да два кусочка чёрного хлеба. Правда, ещё папироску выкурил, да рябинку оглядел.

Умудрился иглодёр загнать сухие сосновые хвоинки между крутобоких ягод рябиновых кистей.

Стоит рябина, красуется: ягоды в кистях – будто тугие кудри. А в кудрях хвоинки золотыми заколками.

ВЕЧНАЯ ЛЫЖНЯ

Когда-то эта поляна под бором была распахана. Лесники садили на ней картошку. Но повадились сюда кабаны. Они стали выкапывать сочные клубни раньше людей. Жалея напрасного труда, лесники забросили поляну, и она стала зарастать.

Как-то раз я шёл через брошенное картофельное поле. И вдруг словно запнулся. Посреди поляны росли маленькие ёлочки. Совсем крошки: года два, от силы три.

Ёлочки на заброшенных полях не диковинка. Они торчат, разбросанные то там, то тут, ёжиками темнея в жухлой сентябрьской траве. Эти же росли группами. Слово были посажены руками человека. Колючие еловые торчки двумя полосами тянулись через поляну, пересекая её наискосок.

Казалось, тут прошёл кто-то на широких охотничьих лыжах.

Только вместо вдавленного снега топорщилась щётка еловых ростков.

Целый день бродил я по лесу и мыслями непременно возвращался к тем ёлочкам. И ведь вспомнил!

Именно там, по той самой поляне, проходила когда-то моя охотничья лыжня. Тогда, три года назад, я ходил по ней через день, проверяя капканы.

И ещё всплыл в памяти ясный февральский день, треск раскрывающихся шишек и коричневые крылатки семян на снегу. Ветер гнал семена по плотному снегу, набивая в лыжню. Присыпал сверху позёмкой.

Под весенним солнцем семена так рядками и опустились на поле.

И проросли. Вот и получилось, что стала моя лыжня вечной.

СИРОТА

Ручей, чистый и прозрачный, торопился по песчаному, в барханчиках ряби, дну канавы.

Вода то бежала открыто, то скрывалась в зарослях сухой коричневой осоки, где, утишая бег, завихрялась водоворотами омутов-бокалдин.

В тех скрытых от назойливого глаза осокой и непролазным малинником бакалужинах любили прятаться утки.

Вернее сказать, любили прятаться раньше. Потому что на этот раз я прошёл почти всю канаву и единственной моей добычей стал тощий бекасишко-подренок.

Канавка отделяла разработанные торфяники от Костявы.

Справа – березки, мелкий ельничек, трава сухая на ветру шуршит. Это Костява. Слева тоже когда-то была Костява. А сейчас квадратные поля торфяников.

Торф был уже выбран, и поля по весне засадили картошкой. Её начали было убирать, половину рядов прошли копалкой, да так и бросили. Видно, мелковата картоха уродилась. А может, и специально оставили. Кабанов подкормить.

Они это дело моментально унюхали. Все поле перепахали своими длинными рылами, будто плугами.

Вырытые клубни стыло белели на чёрном торфе.

В Костяве торф ещё не брали. Берег с той стороны высок и крут. Кое-где по его склону торчали одинокие березки.

Листья на них до конца не облетели, и деревца жёлтыми пятнами светились на фоне мелкого тёмного ельничка.

Под ближней берёзкой, прямо на скате берега, наклонив шляпку и скособочившись, притулился запоздалый обабок.

Сзади, из-за торфяных валов упал ветер. Как бекасинником выстрелил – ударил мелкой, словно манка, снежной крупой. Остервенело вцепился в жидкие берёзовые космы, трепля их и обрывая пятки листьев.

Будто стайки печальных бабочек, неслись жёлтые листки в снеговой круговерти, взвинчиваясь высоко над кронами.

Снег зарядами проносился над торфяниками, плешинами беля картофелища. Запутавшись в березнячке, крупа валилась на осоку, покрывая жухлые листья и берег ручья.

Падала она и на обабок. Горсткой копилась на похилившейся плоской шляпке. Лишь у самой ножки кольцом темнело пятно влажной почвы.

Гриб стоял горьким сиротинушкой, и я его пожалел. Перешагнув ручей, срезал, обдул песочек и сунул в сумку.

К бекасу. Ведь и бекас в одиночку мало что значит, не считая разве охотничьего азарта. А вместе с грибом, пусть и единственным, это уже охотничья похлебка. Особенно, если картошечки добавить.

И я свернул в поле.

РЯБЧИКИ

В лесу ветра не было, и потому казалось значительно теплее. Приминая пухлый снег широкими лыжами, я неторопливо шёл по старой лесовозной дороге.

Дорога стрелой пронзала участок хмурого приспевающего ельника и по ответвлению канавы выходила на простор давней вырубки.

Когда-то здесь, на веретье, стоял светлый сухой бор-беломошник. Но пришли люди с пилами и тракторами, свели бор и вывезли древесину.

Постепенно земля оправилась. Рассыпались в труху источенные насекомыми пни, затянуло травой рваные раны от гусениц тяжёлых тракторов.

Да и лес не дремал.

Ежегодно бросали оставленные сосны-семенники на вырубку десанты семян-парашютистов. Семена отбрасывали ненужные больше крылатки-парашютики и, прорастая, впивались корнями-насосами в материнское тело земли, тянули-пили её благородные соки, росли-тянулись вверх.

К солнцу, теплу и свету.

И вот, спустя два десятка лет, старая вырубка представляла собой рединку с мягкой шелковистой травой и высокими пушистыми свечками молодых сосенок. Здесь по осени в изобилии высыпали боровые рыжики и маслята, а по краям встречалась брусника.

Светлая сосновая рединка привлекала различную живность.

Летом и осенью здесь кормились тетерева и тяжёлые глухари, лоси уст-раивали свои турниры.

Зимой вся она бывала испещрена путанными петлями заячьих следов-маликов.

Круглый год по краю тёмного леса обитали рябчики. Вот я и шёл проверить, как чувствуют себя мои старые друзья – юркие серые

рябцы. Ради них я встал пораньше и ещё затемно пробежал поля, отделяющие поселок от сплошной стены большого леса.

Зимой проще всего определить место обитания рябчиков по их снежным лункам-ночлежкам. Мне часто приходилось встречать такие на прогулках, совершаемых по зимнему лесу за делом и без дела.

Каждая ночлежка всегда имела две лунки-отверстия. Полуосыпанное входное, куда птица падала в снег с высокой ветви дерева, и выходное, с отпечатками полукруглых крыльев по бокам. Отсюда она вылетала утром.

Там, в снегу, в обтаявших берложках и пережидали рябчики долгую страшную зимнюю ночь.

Ни разу не приходилось мне наблюдать, как покидают птицы своё ночное убежище. За раскрытием этой тайны я и шёл в лес. Для того и взял с собой не старую, проверенную во многих походах по лесным дебрям, ижевскую двустволку, а фотоаппарат.

Я шёл и представлял, как выйду к речине, найду лунки, и из-под ног в фонтанах сыпучего снега, по одному, по два разом, будут выпархивать рябчики. Как разлетятся они, рассядутся, успокоятся и начнут пересвистываться из темноты густых заснеженных еловых ветвей. А в воздухе ещё долго будет кружиться, искряться острыми гранями, розовая снежная пыль.

И такой праздник был на душе, что хотелось петь, и я мурлыкал про себя какую-то легкую песенку.

Но на утренник я опоздал. До меня там побывала куница.

По следам я определил, как она долго петляла лесом, осматривая поляны, и, наконец, с разбегу выскочила на самую середину рябчиного ночлега.

Следы рассказали как гибко металась хищница от лунки к лунке.

Как, заполошно молотя крыльями, улетали невредимые рябчики.

Так и остались мы с носом.

Я без фотоснимков, а куница без завтрака.

ЗАЙЦЫ – ПАРИКМАХЕРЫ

Еле дождался я, пока можно будет бегать в Костяву короткой дорогой через поля. Как в окно ни погляжу, там всё одно: пашня уже

почти голая, а на дороге сугробы пухнут. Ни так не пройти, ни эдак. На пашне в жидкую грязь до самого колена проваливаешься. Прямо даже жуть берет. Мысли не о том, куда идти и как, а лишь бы самого вместе с сапогами не засосало.

На дороге тоже не мёд. Утоптаный за зиму снег раскис под солнцем. С виду дорога как дорога, но попробуй, ступи.

Два шага шагнул, а на третий, – у-ух!

Да не по колено, а почти по пояс!

Едва выберешься, пару шагов шагнёшь, снова, – у-ух!

Опять по пояс.

Словом, не ходьба, а сплошной ноголом. Пока до лесу доберёшься, ноги так намаешь, что коленки гудят и скулы сводит. Какая уж тут работа! Кружку бы сладкого чая побольше, да к телевизору на диванчик.

Так что я, как человек достаточно грамотный и в лесных делах опытный, до поры – до времени по прямой дороге через поля даже и не совался. Терпеливо ждал.

Дождался, наконец.

Дождик пошёл ещё с вечера. За ночь он смыл остатки снега с полей и из-рядно поубавил его на дороге. Так что к обеду, когда я собрался прогуляться до леса, дорога была уже чистая. Лишь кое-где в колеях поблёскивал ледок.

Я шёл по обочине и радовался. Радовало буквально всё, каждая мелочь, даже я сам: «Это ведь надо же, какой я терпеливый мужик! Не полез напролом. Дождался! И светло-то как кругом, и чисто! Праздник, да и только!»

Настроение и вправду было праздничное. Я, казалось, чувствовал мягкую податливость травы даже сквозь толстую подошву сапога.

И было удивительно светло, несмотря на угрюмость пасмурного серенького денька. Как-то даже чересчур светло.

Это и было непонятным.

Тут уж я восторги свои поубавил. Начал присматриваться по сторонам.

Что-то было не так. Иначе, чем осенью.

Чем-то изменилась за зиму дорога.

Кусты, что ли, ниже стали?

Стоп! Кусты-то и вправду как бы присели.

Если осенью ивовые ветви в придорожной канаве скрывали меня с головой, то сейчас едва достигали пояса.

Кому же это вдруг понадобилось подстригать кусты в голом поле? Это было совсем непонятно.

Вгляделся я внимательней, и словно пелена с глаз спала. Так это же зайцы! Точно, зайцы!

Снегу зимой было много, как раз по пояс, а корму не густо. Вот они и остригли тонкие верхние побеги. Горькая ива в холодную зиму – первая заячья пища. Вон под кустами и огрызки веток, и твёрдые заячьи катышки.

Да много-то как! Целые россыпи.

Пошёл я дальше.

Вроде всё то же самое: и дорога на взгорке матово блестит грязью, и трава под ногами мягкая, но восторги как-то не возвращались.

Тоже мне грамотный, опытный... Хвостун.

Зайцев не разглядел.

СПРОСОНОК

На лесной дороге вдоль Пятой боковой я встретил жабу. Большая и серая, она уныло сидела между колеями на примятой снегом траве.

Было видно, что жаба только-только выползла из-под моховой кочки, где проспала в оцепенении всю зиму, и пробиралась сейчас в канаву. На запах свежей воды.

Говоря – только-только, я ни капли не преувеличиваю.

Чего-чего, а это я определил сразу.

Да и что там было раздумывать. Тусклая, словно бы подвяленная, жабья шкурка ещё хранила отчётливые следы корешков и травинок той кочки, что была жабе домом эту зиму.

Мало того, на спине путешественницы, прямо вдоль хребта, прочно прилипнув к коже, лежала узкая жёлтая былинка.

Ветерок шевелил свободный конец травинки, словно плюмаж над головой средневекового рыцаря.

Жаба и впрямь походила на закованного в железные латы бойца, только что потерпевшего поражение.

Я присел и заглянул ей в глаза.

Там не было ни решимости победы, ни, хотя бы, воли к жизни. Взгляд мутных, словно подёрнутых плёнкой, глаз выражал лишь скуку и всемерную усталость.

По крайней мере, так казалось мне, через моё человеческое восприятие.

Что думала в то время жаба, боюсь, вряд ли кому известно. Похоже, она меня и не заметила, а всё так же смотрела то ли в какую-то неведомую дальнюю жабью даль, то ли в самое себя.

Чтобы облегчить страдания животного, я ухватил свободный конец бы-линки над её головой и потянул.

«Зачем, – думаю, – ей лишнюю тяжесть таскать. Да и коже полегче».

Жаба не поняла моей заботы. Она вдруг припала на все четыре лапы, да что там припала, – улеглась прямо на брюхо и поползла.

Она выбрасывала поочередно передние лапы и подтягивалась на них. Одновременно в полном согласии с передними работали и задние. Подталкивали вперёд серую тушу.

Жаба ползла, как самый заправский пластун. Только гораздо медленнее. Словно маленький танк или асфальтовый каток, она двигалась, приминая сухие листья вейника и осоки.

Я представил, каково ей ползти голым пузом по острым, словно бритва, краям листьев и пожалел животину. Подхватил в пригоршни и перенёс к ручью на дне канавы.

Жаба, должно быть, просто обалдела: то ли от радости, то ли от подобной бесцеремонности в обращении. Она долго сидела на песчаном берегу, тупо глядя в тугие извивы полой воды. Смирившись, а может, приняв происшедшее как должное, подняла правую лапу и самыми кончиками пальцев коснулась поверхности ручья.

Ну точь-в-точь старушка на городском пляже. Видимо, температура воды жабу совсем не удовлетворила. Брезгливо тряхнув лапой, она развернулась и лениво заковыляла под берег.

Там она долго шуршала в осоке и листьях, но я смотреть не пошёл. Что ж её, беднягу, лишний раз беспокоить.

ГУСИНОЕ ПЕРО

На перекрёстке, там, где Пятая боковая сливается с Язельницей, в самых почти лугах, нашёл я гусиное перо. Лежало оно на пригорке среди серо-зелёных плюшек гусиного помета.

Плюшки были разной свежести: от недельной давности до сегодняшнего утра, и я понял, что гуси на этой насыпи останавливаются довольно часто.

Именно такое место я искал и, вынув из рюкзака саперную лопатку, принялся ладить скрадок. Ямку под ивовым кустом в сторонке выкопал. Нарытую землю курткой в канаву стаскал, чтоб следов не осталось. Ветви куста над ямой сухой прошлогодней травой завесил.

Походил вокруг, посмотрел, – отличный получился скрадок. Со всем незаметный. Сам внутрь забрался, на рюкзаке устроился, сажу, покуриваю. Поджидаю.

Солнце светит, плавает в полой водичке. С разлива ветерок на-скакивает, рябит воду. Будто сетку на солнце набрасывает, поймать его хочет.

Шебуршится ветерок в прошлогодней осоке. В кусту пчёлы гудят: трудятся над ивовыми жёлтыми барашками.

В ямке мне тепло, хорошо, уютно.

Из скрадка на высокой насыпи далеко видно. Все луга – как на ладони.

Носятся над разливом туда-сюда-обратно всякие разные утки. Высоко тянут пленками гуси.

Далеко летят. Не то что лап, хвоста не разглядишь. Была бы винтовка, можно бы попробовать стрельнуть. С ружьем же и думать нечего.

Тянут гуси под самыми облаками, меж собой переговариваются.

Пчёлы гудят в ивовом кусту. Ветерок с осокой перешёптывается.

Смотрел я вокруг, смотрел, слушал всё, слушал, да и сам не заметил, как приморило.

Задремал. Просыпаюсь от грохота.

На перекрёстке стоит лесник Володя и палит из моего ружья по далекой гусиной стае. Птицы высоко, но азартный лесник салютует дулет за дулетом. Только стреляные гильзы в разные стороны сыплются.

Ясное дело, патроны не он заряжал, чего их жалеть.

– Ну и здоров же ты дрыхнуть. – Володя собрал гильзы с земли и забрался в скрадок. – Я уже покурить успел и «японки» два раза глянул, а ты всё спишь. Этак-то гуси на шляпу плюшек наделают, и не заметишь.

– Высоко летят, – отвечаю, – на шляпу попасть трудновато будет.

– Высоко, – согласился Володя. – Винтовку бы малокалиберную, точно бы достал густика. А так одно пёрышко всего и вышиб.

И достает из кармана гусиное перо. То самое, что лежало утром на при-горке среди серо-зелёных плюшек.

– На, – говорит, – дарю. Хотел я из него лещёвый поплавок смастерить, да, пожалуй, лучше тебе отдам. Кончик стержня срежешь, заправку от шариковой ручки вставишь и рассказ напишешь. Как гуси тебе на шляпу чуть-чуть плюшек не наделали.

Я лесника во вранье уличать не стал. Пусть думает себе, будто я ему по-верил. Перо взял и приладил за тесемку своей охотничьей шляпы.

Дома я долго сидел и думал, как быть с этой замечательной находкой. Можно бы и в самом деле сделать поплавок. Чутьистый бы поплавок получился. Самый что ни есть лещёвый.

Сидел бы я летом на берегу Белужьего озера, смотрел на поплавок и вспоминал этот скрадок на краю разлива, серые плюшки на пригорке и неровный переговор гусей под высокими облаками.

А можно было сделать настоящую перьевую ручку. Острым ножичком очинок накосо срезать, пополам расщепить.

Потом знай мажай в чернильницу да по бумаге води. А затупится, снова ножичком – чик, и опять, как новое.

Пушкин, вон, все свои стихи написал гусиными перьями. Поди, гусей извёл не один воз. Да тогда все так писали, даже школьники. Даром разве ножики-складенчики по сию пору называют перочинными.

Я ручку делать не стал.

И рассказ этот на машинке напечатал. Привычнее как-то.

А перо положил на полку.

Туда, где лежат всякие прочие памятные штуки. В любой момент, летом ли, осенью – взял в руки и вспомнил.

Как ветер набрасывал на солнце сетку ряби...

Кроме того, среди прочих вещей, на той памятной полке лежат у меня ножны от потерянного ножа, расплющенная свинцовая пуля, стреляная винтовочная гильза, коготь рыси, шарик от подшипника и заячий зуб.

Но это рассказы совсем из другой книжки.

Николай КОНЯЕВ

МАЛЫГИ

В воскресенье был на рынке. Битый час бродил вдоль крытых торговых рядов, присматривался, приценивался, но покупать ничего не покупал и уходить с пустыми руками не торопился. На торговцев, что в сумрачный осенний день за прилавками от холода приплясывали, и внимания-то не обращал – все они в последнее время кажутся мне на одно лицо, примелькались. А тут будто кто-то локтем в бок – глянька, кто перед тобой. Глаза приподымаю – боже мой, Малыга. Юрчик!

Молодая темноликая женщина в наброшенной на плечи меховой куртке сидела на складном низком стульчике, в руке держала дымящуюся сигарету и прямо-таки складывалась напололам от сотрясавшего ее смеха. А Малыга, землячок мой, на корточках подле нее. Коренастый, головастый, в коричневой кожанке, с выбритым затылком, со знаменитой на деревне резиновой улыбочкой от уха до уха... Зубы скалит. Забавляет.

«Да Малыга ли это? – все еще не уверяюсь, не решусь окликнуть. И так, и этак погляжу, и сбоку, избоку гляну, – нет же, нет, не обознался. Он. Рот не укоротишь. И седелку носа не выпрямишь. Как у нас в деревне старики говаривали – куда породу денешь? Малыгина порода!»

Торговка между тем ненароком встретила мой взгляд, кивнула на меня собеседнику: обслужи, мол, покупателя. Тот в два прыжка к прилавку с наигранной учтивостью:

– Чего изволим, сударь?

«У-ухарь-купец!»

По разложенным напоказ шмоткам туда-сюда глазами пробежался, соображая, очевидно, что бы там такое могло меня привлечь.

– Юрчик? – спрашиваю тихо. – Малыга? – уточняю неуверенно.

На уголках его фамильных безразмерных губ повисла глуповатая улыбка, веки дрогнули, подглазья сбежались в розовые сеточки, но тотчас и разгладились, улыбка улетучилась, а глаза вдруг обрели холодный, хамский блеск...

– Малыги вон, на входе, с протянутыми шапками! – ответил-отчеканил он и отвернулся, и добавил, выдавив сквозь зубы, обращаясь не ко мне, а уже к торговке. – Нашел мне тут какую-то малыгу!

Вот так оплошал я!

Вот так отбрил меня земляк!

Да и поделом. Какой же он теперь Малыга?

* * *

Жил-был в моей деревне мужичок один. Малыгиным его не называли даже в сельсовете. Так Малыгою и помер...

А интересный был мужик! Таких, как он, теперь по всей России наверняка уже не встретишь. Не знаю, как насчет добра, но зла этот неказистый мужичонка с белесыми бровями точно никому не причинил, разве только самому себе по недомыслию природному...

Но прежде, чем об Юркином отце, немножко о Малыге-деде. Юркин дед был тоже малый интересный. Жива история о том,

КАК МАЛЫГА-ДЕД УЕХАЛ НА ВОЙНУ

Погрузили призванных на колхозные подводы, чтобы везти в райцентр, на сборный пункт. Мужики, кто пьян, кто трезв, с семьями прощаются, бабы голосят. Малыжиха, бедняга, громче, горше всех. Шутка ли, одна с семерыми остается. Заламывает руки, в голос причитает, наказывает мужу:

– Да не потеряйся там иде-нибудь! Держися мужиков! Доедешь, так письмишко черкани... Листик положила, огрызок положила...

Малыга недоумевает:

– А растуды твою кулему! Как же черкану, если я неграмотный!

– Да попроси там мужиков! Мужики помогут!

– Так ведь табаку, небось, потребуют!

– Ну и отсыпь щепотку!

Мальга – скрепя сердце:

– Ну, если на закруточку! – И, озадаченно моргая, спохватывается вдруг. – Тю-ю, куда ж я напишу-то? Ты ж мне адрес не оставила!

Мужики со смеха попадали с подвод.

А бедная Малыжиха слезами обливается.

– Глупой. Совсем глупо-ой! Чую, не воротисси!

– Ладно хоронить-то! Буде причитать!

– А как не причита-ать? Семеро сиротами останутся! Другой под пулю не полезет, а ты слупу сунесси. Чует мое се-ердчишко!

– Да растуды твою кулему, я вам навоюю! – хорохорится Мальга. – Одного-двух уложу, свою норму выполню – к покосу ворочуся. Ставь к покосу бражку!

– Глупой ты, разгупо-ой!..

Как в воду глядела Малыжиха. Ни «листик», ни «огрызок» Мальге не понадобились – уехал и пропал. Ни письма, ни похоронки... Сэкономил на закрутку.

А старшенькому – Прощке – в ту пору шел двенадцатый годок...

На восемнадцатом он женился. Взял из соседнего села дочку фуражира Федору Коновалову – деву нелюдимую и мрачную. Жена у фуражира молодой померла, оставила в наследство дочь на выданье и полный двор скотины – Федора управлялась. С хозяйством засиделась...

И сразу пошли дети. В двадцать три имел Мальга четверых парней – Ермоху, Степку, Ваньку и грудного Юрчика. Все, как один, большеголовые, безбровые, губастые...

– Ну, Мальга, наклепал, как по трафарету! – смеялись мужики.

Тот самодовольно усмехался:

– Зато все мои, никто не скажет, что есть лишние!

Чумазые, сопливые, малыжата день-деньской носились шумной стайкой. Обувки не знали с Пасхи до Покрова, случалось и по снегу шлепать босиком, но никакие хвори к ним не приставали. Новые штанишки получали к осени, перед самой школой. Мальга покупал

черного сатину, Федора шила шаровары с широкими, шуршащими штанинами на резинках снизу. К новым шароварам полагались свеженькие майки. То-то было радости!

Детей Малыга по-своему любил и баловал по-своему. Как-то раз Федора отправила его в райцентр за сандалиями старшим. Малыга заглянул в универмаг, перебрал всю обувь, выставленную там на обозрение. Вид «дырявых» сандалет его обескуражил. Решил купить ботинки, но выданных Федорой денег хватало только на Ермоху. Задумался Малыга: купишь одному – остальным обидно будет. И чтобы никого не обделить и не обидеть, плюнул на ботинки и сандалии, купил пол-ящика конфет...

Баловать-то баловал, но если распаяются, то и цыкнуть мог. Да так, что вся четверка во главе с Ермохой горохом рассыпалась под кроватью и без звука выжидала, когда тятка сменит гнев на милость.

Сыновей Федора стригла ножницами наголо, но оставляла чубчики. Деревенские подтрунивали:

– Ребятишки, для чего вам мамка чубчики оставила?

– А чтобы тятка из-под койки мог вытаскивать!

В обед Федора выходила из избы и с крыльца звала:

– Ермо-ошка! Сте-епка! Ва-анька! Ю-юрка! Марш домой обедать!

Четверо срывались с места, где б ни находились.

Федора ставила на стол алюминиевую миску размером с добрый таз со щами или окрошкой. Малыга сам разламывал ковригу и начинал хлебать. За ним по старшинству – Ермоха, Степка, Ванька, Юрчик. Хлебали молча и сосредоточенно. Федора подливала. Наевшись, пили чай вприкуску с серым сахаром. После чая дружно шмыгали вспотевшими носишками, но из-за стола не выходили раньше отца с матерью.

В избе – ее купил Малыге тесть по случаю женитьбы – добра всего и было, что сундучок с Федориным приданым да огромная русская печь. Как бы жарко ни натапливали избу, тепло в трескучие морозы быстро выдувало, и Малыга приспособился согреть детей в печи, чем однажды напугал до полусмерти нагрянувшего тестя...

Входит тесть в избу с мороза, руки потирает, сосульки из бороды выщипывает.

– Ставь, зять, самовар – до костей пробрало!

Малыга с печи да к порогу, шубу с тестя принимать.

А из-под печного свода высунулись головы, измазанные сажей. Одна, другая, третья...

Тесть, оторопев, оттолкнул Малыгу, попятился к порогу:

– Свят, свят, свят!.. Помилуй мя!..

– Да што ж вы, тятя, напужались? – удержал Малыга. – То внуки в печке греются!

В тусклом свете лампы тесть не сразу разглядел внучат. Ермоха, Степка, Ванька, Юрчик, как хомячки из норки, выползли на свет на дедов голос.

– Де-еда, это мы!

Тесть не сдержался и загнул:

– Что ж ты, мать твою!.. Родных детей сажаешь на ночь в печь?!

– Так, Федора утром хлеб пекла, – невозмутимо объяснил Малыга.

– Чего жару пропадать?

Тесть и поначалу-то не очень жаловал Малыгу, а с годами между ними возникло отчуждение. Но на людях зять разрыв скрывал. В деревне часто вспоминали,

КАК МАЛЫГА К ТЕСТЮ ЗА МЯСОМ ХОДИЛ

В молодости он одно время работал молотобойцем. За день молотом намашется, аппетит разыграет, а дома на столе не густо. Вот и размечтается к обеду.

– А што, – скажет кузнецу, – возьму да в воскресенье к тестюшке смогаю. Тестя навестю... Тестя навестю... да мяса принесу. У тестя мя-яса – некуда девать. Чего душа желает! Схожу да принесу... Куда ему, беззубому, столько ужевать?

И день, и два, и три одно и то же кузнецу твердит. Ждет не дождется воскресенье.

И вот приходит в понедельник. Кузнец интересуется:

– У тестя был, Малыга?

Молчит, будто не слышит. Из кузни да на улицу, с улицы да в кузню. То угля, то прут несет дляковки, то бадью воды... То у наковальни, то у горна топчется.

Кузнец не отступается.

– Ну, сбегал к тестю, нет?

Малыге некуда деваться.

– Та-а, чего там... Сбегал.

– Ну и что принес?

Опять из кузни да на улицу, с улицы да в кузню...

Кузнец в усы ухмылку прячет, упорно добивается.

– Мяса много ль припер?

– Та-а, множко ль на себе припрешь?! – вскрикнет жалобно Малыга. – Вот поеду на кобыле, разом привезу!

Однажды пополудни на остановке из городского автобуса вышел пассажир. Средних лет мужчина – солидный, судя по осанке. В сером длиннополом пальто с каракулевым воротником, в каракулевой шапке, в шикарных кожаных ботинках...

Вышел, огляделся и, перебросив из одной руки в другую легкий чемоданчик, направился к видневшейся за почтой двухэтажной школе.

Но подошел и – растерялся.

– Дети, где тут проживает председатель сельсовета? – спросил у пробежавших мимо малыжат.

– А во-он, где флаг над крышей!

Приезжий с чемоданчиком взял курс на красное полотнище на соседней улице.

Зашел в приемную. В приемной секретарша.

– Вы к кому, товарищ?

– К председателю.

– Так нет его...

– А где же он?

...Через четверть часа секретарша знала, что представительный мужчина заехал в гости к председателю, с которым прошлым летом в областной больнице лежал в одной палате, где они сдружились и обменялись адресами. И вот ему командировка выпала попутная – как не воспользоваться случаем, не навестить приятеля?

Секретарша – ох да ах, какая, дескать, незадача – председатель укатил с утра в райком, будет только к вечеру, придется подождать. И хоть ей было в новость, что председатель летом лежал в какой-то там больнице, уточнять из деликатности не стала, провела нечаянного гостя в комнату приезжих, включила самовар, угостила чаем.

От чая гость размяк, разговорился. Как, мол, поживаете, каковы успехи, виды, то да се, да пятое-десятое...

Секретарша отвечала:

– Жаловаться грех. Иван Михайлович у нас председатель знатный...

Такой непринужденный, легкий разговор.

Но гость с чего-то вдруг обеспокоился.

– Иван Михайлович, сказали? Разве председателя зовут Иван Михалычем? А не Прохор Ерофеичем?

– Не-ет, Иван Михалычем...

– А как давно он председателем?

– Да уже лет десять.

– Де-есять?! – гость привстал со стула, промокнул платочком взмокшую макушку. – А он сказал, что председателем его избрали год назад... Простите, как его фамилия?

– Кого? – вконец смешалась секретарша.

– Да председателя-то вашего!

– Иван Михалыча? Захаров!

Гость вымучил улыбку и слегка сбледнел.

– Не Малыгин разве?

Секретарша хлопнула длинными ресницами. Вот когда дошло! Аж зрачки расширились.

– Не к Малыге ли Вы, часом? Отроду он не был председателем. Ни «а», ни «б» не понимает. Во-он его изба, из окна видать!

– Хороша изба! А двухэтажный особняк?

Тут уж секретарша не сдержалась, прыснула в ладошку.

– Во сне ему приснился особняк. Он только прошлым летом со- лому с крыши сбросил!

Заночевал гость в сельсовете, а утром, спозаранку, взяв слово с секретарши о неразглашении конфуза, втихомолку укатил.

Секретарша дала слово, да только как же его удержишь в нашей- то деревне?

Когда Малыга шел в своей рыжей «полканке» (он и летом не всегда с головы ее снимал), лица было не видать. Не вспомню без улыбки,

КАК МАЛЫГА СО МНОЮ ЗДОРОВАЛСЯ

Крикнешь через дорогу:

– Здравствуйте, дядя Малыга!

Он как споткнется на ходу. Уцепится за шапку, чтобы не слетела, головой повертит.

– Слушай, с кем ты поздоровкался?

– С вами, дядя Малыга.

– А чего ты поздоровкался?

– Нас же так учили!

– Мамка с папкой, што ли?

– В школе!

– В шко-оле? Ишь ты! И со всеми вас здоровкаться учили?

– Да!

– И со мною тоже?

– Да... И с вами тоже.

– Ишь ты, прямо интересно! Так вот и сказали: и с Малыгой – тоже?

– Нет, так не говорили, – проямлишь и пойдешь в смятении.

Но Малыга не отстанет.

– А ты куда пошел, парнишка?

– Что еще, дядя Малыга?

– Так ты ж со мною поздоровкался?

– Ну, поздоровкался... А что?

– Ты прямо молодес! Ты поздоровкался, а я ессе и не ответил...

Здравствуй, коль не шутишь! А если пошутил, стречь не попадайся – уши оторву!

Учились малыжата из-под палки. Раньше, чем таблицу умножения, осваивали трактор и комбайн. В школе их тянули до восьмого класса, зажмурясь, вручали свидетельства и с облегченным сердцем выпроваживали в жизнь. Все уходили в ПТУ. А после ПТУ подавались в город. Тропу туда проторил Ермоха. Устроился подсобником на табачную фабрику. За Ермохой уехал Степан, за Степаном – Иван, за Иваном – Юрчик. И все – на табачную, в одно общежитие. Оттуда через год уходили в армию. Отслужив, с недельку гостили у

родителей и возвращались в город, уже кто куда. Лишь Юрчик задержался. Но его Малыга выпроводил сам...

Служил Юрчик в Германии. Явился ясным соколом, гуляет день, другой и третий... И ладно бы – гулял, а то закуролесил. Все норовил продемонстрировать приемы, которым обучили его в армии.

– Желаящие есть? В Германии, камрады, с этим делом глухо! – Он становился враскоряку, раскачивался и потряхивал кистями, приглашая к поединку.

То ли парни в самом деле опасались оказаться поверженными Юрчиком, то ли не хотели осрамить войку перед деревенскими девушками, но в борьбу с ним не вступали.

Однажды на кого-то он все ж таки нарвался. Пришел домой к полуночи в разорванной «парадке» и с «орденком» под глазом...

Поглядел Малыга да и заявил:

– Вот что, сынка милый! Не оставил дурь в Германии, так свезика ее в город, сбрось где-нибудь подальше от отцовских глаз!

Вскоре после Юрчиковой свадьбы Федора вдруг сдала – исхудала, пожелтела. Весной слегла и уж не встала, не помогли ни бабки с их наговорами-снадобьями, ни врач с таблетками-уколами – истаяла на мужниных глазах.

После смерти матери Ермоха, выросший в начальники производственного цеха, привез отца к себе. Сын жил в пятиэтажке напротив автовокзала. Балкон его квартиры на четвертом этаже просматривался с «нашей» двенадцатой платформы. Попервости Малыга под разными предлогами часто появлялся на вокзале.

В ожидании подхода «своего» автобуса отъезжавшие в деревню мужики облепляли скамью на перроне. В это время из толпы где-нибудь в сторонке «выныривал» Малыга...

– О-о, Малыга! – «удивленно» восклицали мужики. – Не с нами ли в деревню?

– Та-а, чего там делать!

– Присядь с нами на минутку!

– Некогда. Пойду.

– Что за дела такие спешные?

– Мало ли... Кручусь! – но подходил, здоровался.

– А то присел бы, покурил.

– Некогда тут с вами! Дальше побегу!

Проходит пять минут, пятнадцать, полчаса прошло. Мужики и покурили, и наговорились, и новости последние Малыге передали, и по другому разу курево достали – Малыга все стоит.

– Да присядь, Малыга!

– Не, я побежал!

Вот и автобус на подходе.

– Привет там от меня! – напутствует Малыга.

* * *

Там же, на вокзале, я свиделся с Малыгой осенью. За месяц до его тихой и спокойной, в глубоком сне, кончины. Тогда при встрече он узнал и окликнул меня первым. Присели на скамью.

– Ну, как вы тут, дядя Малыга?

– Та-а... Мы теперь как все, – отмахнулся он. – Живем по-городскому. Три раза на дню за стол садимся! – Тихо засмеялся и, вздохнув, добавил, выдав неосознанно самую, по-видимому, суть произошедших в его жизни перемен. – Едим три раз на дню, и каждый – из отдельной чашки...

Светлана ВАСИЛЕНКО

ГОРОД ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ

В военном газике мы едем со съемочной группой в мой родной город снимать документальный фильм о моем детстве. По правую руку от нас серая, словно военная шинель, полынная степь, уходящая за горизонт, по левую – пойма реки Ахтубы. Ахтуба – рукав полноводной и величественной – царицы всех русских рек – Волги. То есть, она как бы родня Волги, ее сестра или дочь, но характер у нее совершенно другой, она стремительная, своенравная, с бурным, словно она горная, а не степная речка, течением. Кажется, что именно из-за своего дурного характера и убежала она из царского дома, что-

бы жить своей дикой и необузданной жизнью, но рядом, параллельно с Волгой-матушкой, так же, как та, впадая в Каспийское море.

– Ахтуба... – произносит режиссер название реки, будто пробует его на вкус, и спрашивает меня. – Откуда такое странное у речки имя? Какое-то совсем нерусское.

– Не русское, – подтверждаю я. И рассказываю.

Когда-то, завоевав всю Азию, дикие орды монголов под предводительством Бату-хана, внука Чингиз-хана, остановились именно здесь, на берегу реки Ахтубы. Сердце Бату-хана поразила эта дикая коварная река, характером и нравом так похожая на необузданный характер и нрав его народа, и очарованный раз и навсегда ее красотой и красотой этого места, он именно здесь, в пойме реки Ахтубы основал Западный улус монгольского государства, назвав Золотой Ордой, и построил столицу Золотой Орды – Сарай. Именно отсюда, из Золотой Орды, монголы совершали свои кровавые набеги на Русь, сжигая и вырезая на своем пути русские города и села. Отсюда они покоряли Русь, выключив ее как государство из исторического контекста на несколько столетий. Именно сюда, в Золотую Орду стекалась дань с русских княжеств, сюда, в Сарай, приходили к хану русские князья, выпрашивать разрешение на княжение.

Я, конечно, немного привираю, рассказывая. Хан Батый построил столицу Золотой Орды гораздо южнее этого места, в низовьях Волги, а уже потом, многие годы спустя, другим ханом она была перенесена сюда. Но для пущей убедительности рассказа – не грех немного приврать.

– Однажды русский князь влюбился в ханскую дочку Тубу. Она, соответственно, в него. Потом князь уехал, пообещав ей вернуться через год и жениться, – рассказываю я съемочной группе местную легенду. – Отец, узнав об этом, рассердился и решил поскорее выдать дочь за старого и некрасивого...

– Хрыча, – фыркает оператор Ира. (Она, между прочим, одна из лучших операторов России).

– ...крымского хана, – говорю я.

– А она сама-то что? Туба эта, – спрашивает, заинтересовавшись, шофер газика, молодой румяный солдатик. – Пошла за него?

– Останови-ка машину вон у того камня, – прошу я его. Машина

останавливается около серого, из бетона, неуклюжего, будто его делал какой-то неумеха, монумента. Мы выходим. На бетонном боку следы от букв. Видимо, медные буквы с монумента скрутили местные алкаши и за бутылку водки сдали в утильсырье как цветной металл. Режиссер пытается прочесть надпись. Ничего не получается. Он поднимает на меня глаза.

– Что тут написано?

– Что здесь была столица Золотой Орды – Сарай.

– Вот здесь?! – режиссер ошарашено обводит взглядом. Вокруг монумента, вместо огромного цветущего города, растянувшегося на многие километры, с каменными зданиями, домами, дворцами, фонтанами, многолюдными базарами, толпами людей из разных стран, лошадьми, овцами и верблюдами, – а именно так описывали столицу Золотой Орды путешественники, – лишь голая серая степь и убогий памятник былому могуществу, жестокой Орде, покорившей полмира, памятник, который, как я поняла вдруг, оглянувшись на него, был похож на скифскую каменную бабу, только без головы.

Мы идем к машине и я рассказываю режиссеру о том, что когда-то в детстве мы с друзьями приезжали сюда и рыли землю в степи. Перекопали все склоны оврагов лопатами. Искали золотого коня.

– Какого еще коня? – раздраженно переспрашивает меня режиссер. У нас с ним намечается творческий конфликт, причины которого еще нам и самим не ясны. Но эту наметившуюся пока еще трещинку в отношениях мы с ним старательно культивируем, чтобы в любой момент на любом этапе съемок можно было бы взорваться, не согласиться, отломиться недовольным куском от скалы, – и тогда эта трещина очень пригодится.

– Я ж говорю, золотого, – недовольно поясняю ему я. – Когда хан Батый умирал, он приказал расплавить все золото, которое у него было, и вылить из него статую своего любимого коня. Этого золотого коня он закопал в степи, но где, никто не знает. С тех пор все его ищут. А он, этот золотой конь, раз в год, в самую лунную ночь, выходит из-под земли и скачет по степи. Многие слышали звон его золотых копыт. Есть такая легенда.

– Легенда на легенде. – сокрушенно, но в то же время язвительно говорит режиссер. – Ничего не осталось. Только легенды.

– Для нас, кто здесь живет, это не легенды, – говорю я тихо.

– А что же?

– Как бы это лучше сказать... Для нас это реальность. Мы с этим родились здесь.

– Но только теперь уже никто не копает степь в поисках золотого коня, – говорит режиссер. – В сказки уже никто не верит.

– Ты же сам сказал, что легенды – это все, что остается от жизни, – не соглашаюсь я.

– Мы не будем снимать твои легенды, – говорит режиссер раздраженно. – Мы будем снимать фильм о жизни! Документальный фильм. Запомни!

Недовольные друг другом, мы с режиссером усаживаемся в машину. Румяный солдатик, заводя машину, вопросительно скашивает на меня свой детский любопытный глаз.

– А что дальше-то было? С Тубой, ханской дочкой? – нетерпеливо спрашивает он меня. – Вы не дорассказали...

– Убежала она от своего жениха, крымского хана, прямо со свадьбы. Побежала к реке и утопилась, – говорю я.

– Ах! – вскрикивает солдатик от неожиданности.

– Так же закричал хан, ее отец, подбежав к реке, когда узнал от слуг, что случилось: «Ах, Туба! Ах, Туба! Что же ты наделала!» С тех пор река и зовется – Ахтуба... – говорю я.

– А дальше что? – не понимает солдатик.

– А дальше она стала русалкой...

– Господи! Я с вами с ума сойду, – говорит режиссер страдальческим голосом, будто у него ноют зубы. – Поехали!

Машина трогается.

От Сарая до моего родного города пятьдесят километров.

* * *

Этот военный город долгие годы был окружен колючей проволокой. Пройти в него и выйти из него можно было только по спецпропускам через КПП – контрольно-пропускные пункты. Говорить и писать об этом городе было нельзя. Этого города долгие годы не было на карте. Карты этого города не существует до сих пор. Название города тоже

было военной тайной. Нельзя было, покупая билет в кассе, сказать: «Дайте, пожалуйста, билет до города N». Враг мог услышать (плакаты, где был изображен этот подслушивающий тебя враг, висели в городе повсюду). Надо было сказать: «Мне нужен билет до 85 разъезда». Названий у города было много. В одно и то же время у него было несколько имен, видимо, для маскировки, чтобы запутать след, обмануть врага и шпиона, – его называли и Знаменском, и Десятой площадкой, или просто Десяткой, упоминаемым выше 85-ым разъездом, Городком, и даже – Москвой-400... (Даже сейчас, перечисляя эти названия, суеверно по-детски думаю, а не выдаю ли я военную тайну?). Но сами жители называли свой город по названию близлежащего старинного астраханского села – Капустин Яр. Или сокращенно – Кап-Яр.

Там мне в середине пятидесятих годов и суждено было родиться.

Когда-то очень давно здесь было Каспийское море. Море отступило, образовалась впадина глубиной в 200 метров ниже уровня моря, и вот там, на дне ушедшего моря, мы и жили, словно в банке, которую накрыли, словно крышкой, куполом синего без облачка неба. Ночью же с неба свисали, как с рождественской елки, огромные яркие звезды. Собственно, именно из-за того, что небо там почти весь год чистое и безоблачное, и решили там сделать полигон.

Место, где я родилась, было ракетно-ядерным полигоном, где испытывали ракеты и новейшие виды ядерного оружия. А Капустин Яр был городом, где жили военные, работающие на полигоне, и их семьи: жены и дети. Полигон был основан в 1946 году, сразу после войны, когда из Германии вывезли ракеты ФАУ-1 и ФАУ-2, над которыми усердно работали ученые Рейха и которыми, к счастью для человечества, Гитлер так и не успел воспользоваться. На основе этих ракет советские ученые разработали свои образцы. Кстати, из деталей этих же немецких ракет на другой стороне земного шара в это же время были созданы и первые американские ракеты. Как посаженные в землю зубы дракона, гитлеровские ракеты проросли в разных частях света. Началось долгое, растянувшееся на десятилетия, ядерное противостояние двух сверхдержав – СССР и Америки, началась «холодная война».

Вот в таком городе нам предстояло снимать документальный фильм.

* * *

Через КПП, проверив наши документы, временные пропуска, разрешения и другие сопроводительные бумаги из Министерства обороны и Генштаба, – нас не пропустили. Не помогали телефонные звонки и грозные предупреждения патрулям, нас не пропускавшим, что мы важные гости, что нас здесь ждут, и что если они нас сейчас же не пропустят, их накажут. Патрули с непроницаемыми лицами стояли насмерть. И это было странно. Режим секретности в перестройку заметно ослаб. В городе уже давно жили посторонние люди, которые не имели никакого отношения к полигону. Но одно дело – жить в городе, совсем другое – снимать город на киноплёнку. Видимо, в нашем случае Город перестраховывался. Видимо, сработали сразу все виды защитной системы Города. Мы были неопознанными объектами для Города, чужаками, может быть, враждебно настроенными к нему, городу, людьми, непонятно что замыслившими. И Он ощетинился, как еж. Он не хотел даваться в руки. Он не хотел открыться. Он не хотел впускать нас в себя. Режиссер был в отчаянии.

И тогда я решилась. Я повернулась и на глазах патрулей, которые бдительно продолжали наблюдать за любыми нашими действиями, пошла в сторону, туда, где росли кусты смородины, – вроде бы просто так, а может быть, в поисках места, где можно справить малую нужду. Патрули – а ими были молодые солдаты – целомудренно отвели глаза. Легкой походкой я вышла из зоны наблюдения и пошла по едва заметной, но знакомой мне тропинке, которая через короткое время привела меня – к дырке – в человеческий рост, пробитой в бетонной стене, которой теперь, вместо колючей проволоки, был окружен наш город. Через дырку можно было попасть в Город без пропуска. Так все и говорили: «Пойдем через дырку!». Я легко перешагнула через нее. Я столько раз это делала. Я же здесь раньше жила. Дырка была здесь всегда, даже тогда, когда здесь была колючая проволока. И все местные про нее знали. А я и была здесь своя, местная. Я попадаю на улицу Советская Армия, где среди одноэтажных однотипных финских домов, стоит и наш с мамой домик, окруженный садом. Мама ждет меня, я звонила ей из Москвы, что приеду. Но я напрямик, не заходя к себе в дом, иду в штаб гарнизона.

Надо выручать киногруппу.

* * *

В штабе нас знакомят с генералом.

– Думаю, вы снимете фильм, достойный славы нашего знаменитого города и нашей замечательной землячки, – говорит он режиссеру мягко, но внушительно.

Потом нас уводят к полковнику, в котором я вдруг узнаю сельского мальчика Юру Данилова, с которым мы в детстве катались с ледяных горок. Мы объясняем ему, что нам необходимо выбрать детей для съемки. Нам нужно найти мальчика и двух девочек. Одна из девочек должна быть похожа на меня в детстве. Она будет играть меня в детстве. Остальные дети – моих друзей. Фильм – документально-постановочный. Время – 1962 год, тема – Карибский кризис. Снимать будем в городе и селе. Нам объясняют, какие объекты можно снимать, какие не желательно, только с письменного разрешения. Особо оговариваются секретные и режимные объекты, например, штаб, где мы сидим, которые снимать категорически нельзя.

– А запуск ракет снять можно? – спрашивает режиссер.

– У вас есть допуск? – спрашивает его полковник.

– Нет.

– Значит, нельзя.

Я с негодованием смотрю на режиссера. То, что у нас не получится снять ракеты «живьём», это его, режиссера, большой прокол. Он не пожелал взять в Минобороны допуск (форму секретности), чтобы не стать на несколько лет невыездным. Этому крестину за границу хочется, в Канны, на кинофестиваль!

– Но у нас есть киноархив. Там есть съемки запусков, – утешает нас полковник.

Бесплатно на все дни съемок нам дают военный автобус для киногруппы и техники и знакомят с майором, который нас должен сопровождать во все дни съемок, помогая нам их организовывать, в то же время не спуская с нас бдительных глаз. У майора красивое, как античная маска, серое непроницаемое лицо.

Прощаясь, мы сказали, что детей для фильма найдем сами.

– Ну как ты живешь? – спрашивает меня по-свойски полковник Юра после официальной части.

– Нормально. Вот фильмы снимаю. Романы пишу...
– Я читал, – говорит Юра. – Жизненно пишешь.
– А ты? – спрашиваю его я.
– И я нормально, – говорит Юра. – Вот до полковника дослужился. Через полгода – в отставку пойду...

Он вдруг подмигивает мне длинным конским глазом и заговорщически улыбается. Я улыбаюсь тоже. Вот таким, с длинным конским глазом, я и запомнила его, когда мы, еще детьми, летели с ним с ледяной горки и он, обхватив меня руками, целовал прямо в губы. И как я писала в одном из своих рассказов: «его слюна была чистой и пресной, как моя собственная слюна». Долетев до конца, мы вставали и, не глядя друг на друга, качаясь, как пьяные, снова шли вверх, в гору, чтобы все повторилось.

Только мы одни с ним знаем про это.

* * *

– Леша, смотри, это буква М, а это буква А. Пиши: МА-МА... – сводная сестра Леша Инна учит его писать. Леша выглядит, как тринадцатилетний подросток, хотя ему уже пятнадцать. Он коротко острижен, на нем грязная рубашка с чужого плеча, он ковыряет в носу и грызет ручку, – он не понимает, чего от него хочет Инна. Ему скучно. Небесно-голубые глаза его на тонком одухотворенном лице, уже покрывающемся легким пухом, ищут, чем бы отвлечься. И находят. Он засовывает ручку в клетку с крысой, которая стоит тут же на столе и громко хохочет.

– Тебе же говорят, пиши! – кричит на него красивая нарядная соседская девочка Катя. – Дурак!

– Сама дуя! – обиженно говорит Леша. Леша не выговаривает «р» и еще кучу других звуков он не выговаривает. Он вообще плохо говорит. Он не умеет писать в свои пятнадцать лет, и читать. Он сирота, его мать умерла несколько лет назад. Он живет с пьяницей-отцом в убогой комнате. Он – умственно-отсталый ребенок. В народе таких называют ласково – дурачок.

Леша, Катя и Инна – выбраны нами для съемок фильма. Все они живут на одной улице с моей мамой. Инна, чем-то неуловимо похожая на меня в детстве, утверждена на роль главной героини.

– Отличная сцена, – говорю я режиссеру. – Хоть сейчас снимай.

Режиссер смотрит на меня выразительными глазами, потом на майора, сопровождающего нас теперь повсюду. Майор сидит у окна с серым скучным лицом и смотрит на улицу. Кажется, что ему совсем нет дела до нас.

– Пойдем, выйдем, – говорит режиссер мне.

* * *

– Ты понимаешь, что наш фильм накрывается медным тазом? – спрашивает меня режиссер, когда мы остаемся одни.

– Почему?

– Этот майор догадается обо всем сразу, как мы только включим камеру и начнем снимать.

– Ты уверен?

Режиссер горестно качает головой. Мы молча смотрим друг на друга.

Дело в том, что мы никогда не собирались снимать фильм о детстве известной писательницы, которая прославилась своими книгами, – то бишь обо мне. Этот сюжет мы придумали для того, чтобы нам разрешили съемки в закрытом военном городе.

С самого начала мы мечтали снять фильм вот об этом мальчике, который ковыряет пальцем в носу, который грызет ручку, который не знает ни одной буквы, плохо говорит, который неадекватен в поведении, который умственно-отсталый, дефективный, даун, дурак, идиот, – вот про него, про этого дурачка с небесно-голубыми глазами, с которым разговаривает Бог, современного юродивого, праведника, на котором и стоит этот строгий военный город, а значит мир. Но разве Город позволил бы нам снять такой фильм о себе? Фильм о Городе, увиденном глазами дурака?

Мы сидим с режиссером, как два заговорщика, хитростью проникшие в чужой город, как два врага, задумавшие обмануть и опозорить честных и порядочных жителей этого города.

– Я нашла выход, – говорю я. – Мы будем снимать два фильма, и про меня, и про него. Камера начинает с меня, потом переходит на мальчика. Чтобы усыпить бдительность майора.

- Это трудно, – говорит режиссер.
- Ничего, справимся. Главное, чтобы пленки хватило, – говорю я.
- Тогда тебе придется написать очень жесткий сценарий...

Режиссер с надеждой смотрит на меня. Я киваю и улыбаюсь режиссеру обворожительной, но не совсем искренней улыбкой. Потому что я чувствую себя не просто предателем, а предателем вдвойне. Мало того, что я обманываю свой родной город, я обманываю и его, режиссера. Потому что я знаю, что мы будем снимать еще третий, невидимый, как град Китеж, фильм. О съемках которого режиссер даже не догадается.

Город хотел бы, чтобы про него сняли хороший документальный фильм, где были бы показаны как достижения его, города, так и его, города, недостатки, но в меру, – то есть нормальный правдивый фильм.

Режиссеру же нужна художественная правда о человеке.

Мне же нужна легенда о нашем времени. Потому что от времени остаются только легенды.

Я знаю одну военную тайну, которую мой режиссер не знает.

Для него это просто обыкновенный военный городок: с центральной улицей, обсаженной пыльными пирамидальными тополями и белой акацией, площадью с обязательным памятником Ленину, штабом, Домом офицеров, магазином, рестораном, баней и базаром, – городок, каких много.

Для меня же этот город, прикинувшийся обыкновенным сонным городком, – был и остается Городом Апокалипсиса. Именно здесь в 1962 году, во время Карибского кризиса, во время ядерного противостояния СССР и Америки, когда мир висел на волоске, я, шестилетним ребенком, видела, как начинается Конец Света.

* * *

В тот вечер 28 октября 1962 года, когда на весь город завывала сирена, мы, нашей круглосуточной группой в детском саду, сидели за столиками и ужинали. К сирене мы уже привыкли, она в тот месяц выла несколько раз по ночам, когда была учебная тревога. Но сегодня она выла как-то по особому. Словно то последний ангел вострубил в трубу над нашим Городом с неба, низко, безнадежно, не переставая – У-у-у! – вот как она выла.

– Война! – закричала истошным голосом нянечка, нас кормившая. – Война началась!

Она еще помнила, что так же начиналась и Великая Отечественная война, вот с таких воздушных тревог перед бомбежками, с воя сирен. Она не знала, что сегодня Америкой был объявлен ультиматум, что если Советский Союз не уберет свои ракеты с острова Куба, то она совершит ракетно-ядерный удар по СССР. В эту ночь время ультиматума истекало, и должна была начаться ядерная война. В первую очередь, американские ракеты, конечно, должны были уничтожить ракетно-ядерный потенциал нашей страны, а значит, наш полигон и наш Город, наших отцов, обслуживающих ракеты, и уже заодно, как говорится, до кучи, – наших матерей и нас, детей, – то есть, всех, кто живет в Городе. Поднялась суматоха. Нас быстро одевали в осенние пальтишки и выводили на улицу и строили по парам. Я стояла в паре со своей подругой Наташей Берёзкиной, моей соседкой по улице, рассудительной рослой девочкой, с которой я дружила, или лучше сказать, которую трепетно и ревниво любила. Мы стояли с ней в одинаковых пальтишках зеленого цвета. Потому что мы были с ней как сестры, но я – маленькая, черненькая, она же – высокая, беленькая. Нас наряжали в одинаковые платья, дарили нам одинаковых кукол, завязывали на голове одинаковые банты. И то, что в такой час мы оказались с ней вместе, меня успокаивало. Когда мы были вместе, с нами не могло случиться ничего плохого. Мы весело побежали на улицу Победы, к 232 школе, так же, как и раньше, во время учебной тревоги. Для нас это было развлечением. Мама рассказывала, что так же, детьми, они весело встретили сообщение о войне в 1941 году, бегая по деревне с радостными криками. Уже стемнело, но фонари были выключены. Нам навстречу тоже бежали люди, в основном солдаты и офицеры. Они садились на грузовики и в автобусы и уезжали. На площади в темноте вокруг памятника Ленину металась «гражданские», – так презрительно называли в нашем городе мужчин, не принадлежащих к военному сословию, женщины с грудными детьми, пожилые люди. Человек с мегафоном истошно призывал их не поддаваться панике и спокойно дожидаться автобусов, которые их вывезут в безопасное место. Хотя какое место на Земле могло быть в ту ночь безопасным?

Мы бежали по темным улицам, взявшись за руки по двое. Мы бежали сначала мимо Дома Офицеров, куда мы ходили на елку и на похороны разбившихся летчиков, смотреть кино или на концерт. Потом по улице Советская Армия, мимо большого дома за голубым забором, где живет генерал Василий Иванович Вознюк, маленький, лысый и очень добрый, он построил наш Город, – сколько раз, сидя на заборе, мы рвали у него черешню, мимо просторного гостевого дома для «промышленников», приезжающих из Москвы и других городов с оборонных заводов доводить ракеты до ума, – здесь нас катал на машине «дядя Сережа», потом мы узнали его фамилию, – Королев, Главный Конструктор ракет. Мимо финского домика под номером десять, где живет Наташа, мимо такого же дома под номером восемь, здесь живу я с мамой. Мой папа живет отдельно от нас, в каменном доме на улице Черняховского. Мы бежим по Артеллирийской Набережной, где стоит фильтровальная станция, мама там берет на анализ воду, у нее такая профессия. По улице Авиационной, мимо «дежурки» – дежурного магазина, где мы брали хлеб – черный хлеб по 14 копеек и белый хлеб – по 20 копеек за один килограмм, – к буханке белого часто давали довесок – корочку хлеба, которую мы, не доходя до дома, съедали. У «дежурки» – выкопана огромная черная яма, в ней вечно чинят водопровод. Мы обходим ее по узенькой опасной тропке. Мимо улицы Ленина, по которой мы шли каждый год на парад. Мимо проспекта 9 Мая, где стояла баня. Мимо Солдатского парка, здесь стояла водонапорная башня, подпирающая небо, и с нее, если залезть, был виден весь городок, и село, и река Постепка, протекающая через село, и бахчи с арбузами, и кусочек Ахтубы, и где-то сливаясь с небом, – Волга. Я бежала и прощалась с городом.

Нас построили во дворе школы, выдали нам кульки с сухим пайком и повели к автобусам.

Мы с Наташей сели в автобус и вдруг во дворе школы я увидела Надьку. Она жила на нашей улице. Она была девочкой-дауном, дурочкой, ее так и звали – Надя-дурочка. Лицо ее было тупое и бессмысленное. Ее распирало от ненужной никому плоти. Дети на улице и моя подруга Наташа смеялись над ней. Надя же была очень привязана ко мне, а я к ней. Я одна с ней играла и жалела ее. Она горячо и наивно мечтала вслух, сидя со мной на крыльце, и я,

с удивлением глядя на ее бысмысленное лицо, понимала, что она умна и добра, что она – как мы, только в ней все оставалось таким, как у нас в раннем детстве. Потом много лет спустя я буду писать о ней в своих рассказах, повестях и романах. Она была и остается в моей жизни самым значимым человеком.

Надька металась по двору школы с бессмысленным лицом, не зная, куда, в какой автобус ей сесть. Все ее отгоняли. Я позвала ее. Она увидела меня и обрадовалась. Она уже было запрыгнула в наш автобус, но бдительная воспитательница начала прогонять ее:

– Куда тебя несет? Не видишь, местов нету! И ты не из нашей группы...

Я встала в дверях и протянула ей руку. Надька уцепилась за меня. Воспитательница разгневалась:

– Ее нет в списках! Смотри, и тебя высажу.

Наташа больно дернула меня за другую руку.

– Садись быстрее, – сказала она. – А то, правда, выгонит из-за этой дыры.

Воспитательница толкнула Надьку от дверей так, что та упала и изумленно смотрела на меня с земли. А я молчала.

Много лет спустя моя учительница скажет мне: «Не понимаю, как ты пишешь такие сумасшедшие романы? Ты же всегда была такая тихая девочка!»

Надька смотрела на меня, а я молчала. Я была тихая девочка.

В автобусе мальчишки разгоряченно переговаривались между собой: «Сначала, от первого ракетного удара погибнут те, кто останется в городе. Мы погибнем от второго удара. Дальше ударят наши ракеты и уничтожат Америку...»

Нас привезли в степь. Фары высветили два засохших тополя. Я толкнула Наташу в бок.

– Узнаешь? Вторая площадка.

Весной мы с Наташей ездили сюда за тюльпанами. Мы приехали сюда на велосипедах, увидели, что степь вся красная от тюльпанов, и опьянели. Мы рвали и рвали их, укладывая их окровавленными охапками рядом с велосипедами. А потом там же, у ве-

лосипедов легли одохнуть и, сморенные весенним солнцем, уснули. Нас тогда искали по всей степи с вертолетов. В ней также трудно найти заблудившегося человека, как и в лесу. Нашли нас под вечер и привезли на военном автобусе в Город. Тюльпаны мы положили к ногам памятника Ленину-маленькому. У нас в городе было два памятника Ленину, один огромный на площади, другой – маленький, с человеческий рост, в парке ГДО. Туда-то мы и положили свои охапки, и Ленин стоял по колено будто в крови, Было красиво.

(Недавно Наташа, не звонившая мне много лет, вдруг позвонила поздравить с днем рождения и спросила: а ты помнишь наши с тобой красные тюльпаны? И мы с упоением вспомнили каждую подробность того путешествия, а подруга, приехавшая на мой день рождения из другого города, ревниво вслушиваясь в наш разговор, вдруг вскричала, когда я положила трубку: «В нашей дружбе тоже было много хорошего! Образно говоря, у нас с тобой тоже были красные тюльпаны!». «Да, было много хорошего, – сказала я. – Но тюльпаны у нас были только с Наташей»).

Вся степь была усыпана детьми: их привезли из школ и детских садов. В темноте то тут, то там слышался смех, крик, или разговор. Разжигать костер было нельзя, чтобы его не заметили со спутника американцы. В темноте я растелила свое пальтецо на земле. Мы легли с Наташей, укрывшись ее пальто и крепко обнявшись. Если нас ночью убьют, то вместе. Мы попрощались с ней, на всякий случай. Мы долго не могли заснуть. Меня мучала мысль, где же Надька. То, что мы ее оставили, не давало мне покоя. «Ну, она же дурочка, – сказала Наташа рассудительно. – Даже если она умрет, то не так жалко будет». Я отодвинулась от Наташи. Потом заснули. Ночью, проснувшись, я испытала тот «Арзамасский ужас», ужас смерти, который испытал Лев Толстой, будучи уже взрослым человеком. Я помню, что я думала о смерти взрослыми словами, будто душа враз повзрослела. Та ужасная мысль о смерти, то, что я, может быть, уже умерла, чуть не свела меня с ума тогда. Даже волосы мои встали дыбом. Ведь вокруг меня была тьма. Я думала, что может быть это и есть Конец Света. Я лежала, дожидаясь рассвета и не смыкала глаз. Я боялась умереть во сне. Я хотела умереть в полном знании, что это совершается со мной. Еще я представляла, что умрут все, умрет человечество, но эта мысль была абстрактной и не трогала меня. Ко-

нец света совершается с каждым человеком в отдельности. Утром я начала искать Надьку, я все-таки верила, что она приехала другим автобусом, и не найдя ее среди спящих в степи детей, поняла, что она, совершенно беспомощная, ничего не понимающая, осталась в городе одна, наедине со смертью. Что она делает там одна? Я предала ее на смерть, – отчетливо подумала я. Меня начал бить колотун. Я тряслась, как ненормальная, пока не встало солнце и не сказали, что время, когда ждали удара, закончилось, и значит, войны не будет.

* * *

Много позже я узнала от отца, что он в ту ночь так же, как и в предыдущие, был на площадке, и теоретически мог стать тем человеком, который нажал бы на кнопку, и мир полетел бы в тартарары. Я спросила его: «А что вы тогда делали, о чем думали, сидя перед этими кнопками, перед Концом Света?» Он подумал немного и сказал: «Мы играли в преферанс». Я ожидала чего-то невероятного, какого-то откровения ожидала я от человека, который мог уничтожить мир. Оказалось же так буднично. Потом я поняла, что да, именно так и должно было быть: Апокалипсис и должен был наступить именно так, как у Чехова, – перед тем, как пустить пулю в лоб, себе или миру, – люди играют в преферанс.

После Карибского кризиса мой отец, хохотун, красавец, душа всех компаний, делавший блестящую военную карьеру, дослужившись до майора в 33 года, вдруг неожиданно подал рапорт об отставке, бросил нас с матерью и уехал из города навсегда.

Мать до сих пор думает, что он в ту ночь сошел с ума.

Я думаю, что мы тогда всем городом сошли с ума.

* * *

Мы решаем с режиссером, что нужно снимать фильм о том, как выживает наш герой в таком вот странном городе. Он же из бедной семьи, сирота.

Первую сцену мы снимаем в Парке Дома офицеров. Майор, как всегда, с нами. Майор – друг человека, – шутит оператор Ира. Мы даже

не пытаемся узнать, как его зовут. Я делаю отвлекающий маневр. Широким жестом я показываю на танцевальную площадку и бодро говорю.

– Вот здесь играл духовой оркестр...Здесь были танцы, где мои родители познакомились, – я начинаю повествование о своей жизни с часа зачатия.

Майор смотрит на часы и идет к телефонной будке.

В это время режиссер незаметно выпускает Лешу-дурачка, который с привычной сноровкой начинает собирать в парке пустые бутылки, которые припрятал для него перед съемкой режиссер. Потом мы снимем, как он сдает их и покупает себе бутылку молока. Оператор Ира быстро незаметным движением переводит камеру с меня на Лешку.

– Ну и секьюрите у нас! – презрительно говорит она, глянув в сторону майора, сняв сцену. – Совсем мышей не ловит.

* * *

Мы ходим по Свинному займищу, где солдаты держат подсобное хозяйство, в том числе свиней. Режиссер ищет натуру. Ему нужно, чтобы Леша шел по тропе на фоне пустого неба. Я указываю ему на Змеиную горку.

– Почему Змеиная? – дергается он. – Опять легенда?

– Нет. Просто когда наступает весна, на южный склон сползают змеи, чтобы погреться после зимней спячки, – говорю я.

– Б-р-р-р, – содрогается режиссер. – Ладно, давайте попробуем. Надеюсь, змеи поздней осенью уже ложатся спать?

Леша на фоне пустого неба идет по горке и тащит велосипедную раму.

Майор сидит в автобусе и безучастно смотрит в совершенно другую сторону. Даже обманывать его не надо. Режиссер делает отмашку, оператор снимает Лешку. Надо экономить пленку.

* * *

Сегодня счастливый день. Снимали сцену, когда Лешка сидит с отцом на крыльце дома. Отец спросил Лешку:

- Что там на небе, Лешка?
- А что там?
- Звездочки. Повторяй за мной. Звездочки.
- Так. Зез-дочки, – говорит Лешка, шепелявя.
- Солнце.
- Сон-це...
- Луна.
- Лу-а...

– А еще что? Лешка? – спрашивает отец и проспиртованные мозги его не помнят, какие планеты там в небе, Марс или Венера. – Ну что там еще?

Лешка затихает, лицо его преобразается и он говорит вдруг отчетливо:

– БОГ...

Отец со страхом смотрит на Лешку, потом на небо.

Ира снимает. Мы боимся помешать ей. Сняла. Мы обнимаемся с режиссером.

– Фильм будет! – говорит он счастливо.

* * *

Ира придумала сцену. Леша хоронит умершего накануне съемок кролика. Уже выпал снег. Холодно. Мы идем в село на берег реки Постепки. Леша долбит мерзлую землю лопатой. Мне холодно. Я отпрашиваюсь. Майор идет греться вместе со мной. Он даже не спрашивает, почему съемки фильма обо мне ведутся без меня. Он, видимо, ничего не понимает вообще. И слава Богу!

Через час режиссер приходит к нам в тепло и радостно сверкнув очками, рассказывает майору:

– Получилось! Он знает, что сказал, когда закопал кролика? – майор тут же отворачивается от режиссера.

– Что? – вместо него спрашиваю я.

– Никогда не догадаетесь! Он положил на могилку камешки и сказал: «Эх, ты!»

* * *

У режиссера плохое настроение.

– Ты написала плохой сценарий, – говорит он. – Мы нанизываем эпизод за эпизодом, и ничего не происходит.

– Но если действительно ничего не происходит? – защищаюсь я. Но сама понимаю, что режиссер прав.

– Значит, нужна провокация!

Мы сидим и, как два злодея, придумываем, чем спровоцировать нашего героя на какое-то действие, которое ни он, ни мы не можем предугадать.

Режиссер смотрит на меня и улыбается.

– Я придумал одну гадость... – говорит он и смеется мерзким смехом.

* * *

Леша, Инна и Катя играют в мяч. Они перелезли в дырку из города в село и стоят на той горке, с которой мы когда-то катались с Юрой. Я на всякий случай бодро произношу свой текст про горку для майора, а то мы слишком расслабились. Потом я подхожу к Кате и говорю ей:

– Ты должна его разозлить.

– Лешку? А как?

– Называй его дураком, идиотом, больным, дефективным...

– Это нехорошо, – говорит Катя, потупившись. – Он обидится.

– Так нужно по сценарию, – говорю я. – Ну?

– Хорошо... – тихо говорит Катя, глядя себе под ноги. Потом кидается к Инне и что-то жарко шепчет ей на ухо. Та с довольным видом кивает ей.

Они начинают игру. Леше нравится девочка Катя. Он кидает ей мяч. Она кидает его ему обратно. Мяч у Лешки выскальзывает из рук, падает. Девочки смеются таким же мерзким смехом, каким смеялся режиссер вчера, придумав эту сцену. Катя и Инна закидывают мяч все дальше и дальше. Лешка сердится. Он понимает, что происходит что-то не то. Ведь так все хорошо начиналось. Он грозит Инне и Кате пальцем.

Первая не выдерживает Инна:

– Дурак! – кричит она во все горло.

– Что? – Леша столбенеет. Его лицо начинает дергаться. Он шепелявит и вместо «ч» говорит «ц». – Что ты сказала?

– Идиот! – пискнула и Катя.

Леша обернулся к ней, как слепой, не веря тому, что услышал это от Кати, от девочки, которую он любит.

– Большой, дефективный! – орет Инна.

– Дурачок, – подхватывает Катя.

Леша вдруг берет с земли дрын и начинает крутиться на месте, будто отбиваясь от слов. Девочки визжат. Но уже в упоении, что можно безнаказано унижать человека, они кричат страшные слова ему в лицо. И Леша сатанеет, он отбрасывает дрын, подхватывает резиновый старый шланг, и догнав Катю, валит ее одним ударом оземь и начинает избивать, дико по-животному вскрикивая. Оператор Ира бросает камеру и закрывает глаза руками.

– Снимай, – кричит ей режиссер. Ира машет головой. Режиссер подсказывает к камере и снимает сам. Я бегу к Леше, оттаскиваю его от Кати. Он падает на землю и долго, страшно, истерично хохочет. Катя, рыдая бежит к дырке. Я бегу за ней.

Я нахожу ее, забившуюся в угол, плачущую, в темном сарае.

Я хочу ее приласкать. Она кричит мне:

– Не трогайте меня! Уйдите! Я вас ненавижу!

Господи, – думаю я, – что мы наделали? Это же с ней останется на всю жизнь...

Я возвращаюсь. Все еще на съёмочной площадке. Собираем технику, не глядя друг другу в глаза.

В автобусе режиссер говорит мне тихо и значительно:

– Получилось. Фильм получился. Я его уже вижу.

– Пошел ты знаешь куда со своим фильмом? – говорю я. И я долго простыми народными доходчивыми словами говорю куда он должен идти. И краем глаза вижу, что майор впервые взволнованно смотрит и с удовольствием слушает меня.

* * *

Мы с режиссером идем в киноархив. Киномехаником там работает мой бывший сосед по улице Шурик Цаплин. В детстве я его обо-

жала. Он во-зился со мной, как с младшей сестренкой. Он был старше меня на восемь лет. Шутливо нас просватали. Он ушел в армию, когда мне было десять лет. И я, чувствуя себя его невестой, ждала и даже писала письма. Он вернулся из армии уже женатым, напроочь забывшим обо мне. А я так и осталась его неудавшейся невестой.

Шурик крутит нам кинохронику с утра до вечера. Первый спутник. Собаки Белка и Стрелка в космосе. Первые запуски ракет. А вот уже пошли современные ракеты. Но все не то.

– Шурик, это все не то, – говорю я.

– А что надо? – спрашивает Шурик.

– Конец света, – говорю я дурашливо.

Шурик остро взглядывает на меня и куда-то уходит. Возвращается он с фильмом о взрыве ракеты при запуске на космодроме Байконур, когда погиб генерал Неделин. Там же погибли и многие наши офицеры, так как Кап-Яр и Байконур были сообщающимися сосудами: наши офицеры ездили на запуски туда, их офицеры – сюда. Я до сих пор помню, какой стон, крик и плач стоял в Городе в те дни.

С первых же кадров мы затихаем. Оцепенев, мы смотрим на ужасные сцены ядерной катастрофы, запечатленные документально. На экране – Апокалипсис. Как ни кощунственно это звучит, это то, что нам нужно. Мы с режиссером собираемся уходить.

Шурик останавливает меня. У него в руках коробка с пленкой.

– Посмотри еще вот это. Специально для тебя принес.

Режиссер уходит. Я остаюсь.

Хроника пятнадцатилетней давности. Сюжет начала перестройки о том, как на капустиноярском полигоне уничтожали ракеты СС-20, одни из самых мощных советских ракет того времени.

Ракета, как выброшенный на берег кит, лежит посреди степи. Вокруг нее суетятся люди. Офицеры готовят ракету к уничтожению. На трибунах, словно это футбольный матч или парад сидят: в первых рядах иностранные наблюдатели и журналисты, за ними – расфуфыренные, как в театре, жены офицеров. На переднем плане – офицер с неподвижным лицом. Он трет мочку уха, чтобы понять, сон это или нет, и по этому движению я узнаю его. Это Саша Воронин, мой одноклассник. Офицер-доводчик. То есть тот, кто доводит ракету, привезенную с завода, до ума, до запуска. «Сашка ласкает

тело ракеты, как будто это тело любимой девушки,» – смеялся другой мой одноклассник, тоже ставший ракетчиком, Сергей Капьярский. И ракета отвечала ему взаимностью. Сашины ракеты всегда попадали в цель, они летели с какой-то особой осмысленностью и виртуозностью, они были полны трепетной жизни, словно живые существа. Они красиво летели! Саша был гением, он был ракетным Моцартом, и так же, как Моцарт, он был «гулякой праздным». О, сколько упоительных и сумасшедших вечеров провели мы с ним в беседке моего сада, когда я приезжала домой из Москвы и собиралась компания одноклассников! Как он играл на гитаре, как он шутил, как он смеялся! О, сколько вишневым бражкой выпивали мы из трехлитровых банок, неосторожно оставленных моей мамой в саду без присмотра! О, сколько ухи, сколько ведер раков мы сварили с ним на рыбалке на Ахтубе! О, сколько желаний мы с ним загадали однажды в августе во время звездопада! Мы не были с ним друзьями или любовниками, ничто постороннее нас не связывало и не сковывало. Я была ему только одноклассницей, но чтобы праздновать эту жизнь, он выбрал меня, как художник безошибочно выбирает художника.

Но сейчас я его не узнаю.

Он двигается очень странно, словно, что-то разладилось в его организме. То он поднимет руку невпопад, то повернется не ко времени. Он подходит к ракете и устанавливает взрывное устройство с таким траурным выражением лица, что кажется – он подрывает собственную мать. Или хоронит ребенка.

Все готово к подрыву. И тут в кадр влезает огромная лиловая туча. Таких туч не бывает в природе. Но она есть. Разражается гроза необычайной силы. Гремит гром, сверкают молнии, ливень стоит сплошной стеной. Журналистов на трибуне прячут в плащ-палатки. Прически жен офицеров становятся мокрой волосней. Саша Воронин поднимает руку. Он командует подрывом. Взмахивает. Раздается то ли взрыв, то ли гром. Огромная молния разрывает небо на две части, освещая страшным светом происходящее. На мгновение свет молнии освещает лиловое, будто у мертвеца, лицо Саши с огромными плачущими глазами. Я даже поднимаюсь навстречу с кресла, словно спешу ему на помощь. С такими лицами кончают самоубийством.

Сюжет закончился.

– Он потом спился и повесился, – говорит Шурик, перематывая пленку.

– Кто? – спрашиваю я тупо.

– Да, кто? Сашка Воронин... Не узнала?

– Когда это случилось? – сдавленным голосом спрашиваю я.

– Да с год уже будет.

– Мне никто не сказал.

– А чего говорить? У нас в городке сейчас один за другим, – Шурик выразительным жестом показывает, что они делают с собой. – Я Сашку понимаю. Работы нет. А главное, перспективы нет. Один-два запуска ракет в год, это нормально? Пошли, невеста! – говорит он и я вздрагиваю. Неужели помнит?

– Что? Думаешь, не помню, как ты мне свои каракули в армию присылала? – спрашивает Шурик самодовольно. – До сих пор где-то валяются. Потом когда-нибудь продам на аукционе Сотбис...

* * *

Режиссер снял свой фильм. А я еще нет. Я, словно Бориска, колокольных дел мастер, из фильма Тарковского, еще не нашла своей глины, чтобы колокол зазвенел. Мне нужна еще одна сцена.

– Я тебя не понимаю, – говорит режиссер. – У нас столько материала...

– Нет, – говорю я. – Вот увидишь, без этой сцены фильм не получится.

Лучше добавить: легенда про Конец Света не получится.

* * *

Мы снимаем в развалинах купеческого дома. После революции он стал зданием НКВД. В перестройку его подожгли.

Леша бродит по развалинам, посвистывая, разговаривает с птицами. Те откликаются на его свист.

– Ну что ты хочешь? – спрашивает меня режиссер. – Что он должен делать?

Я сама не знаю, чего я хочу.

Лешка, собрав щепочки, поджигает их, греет над огнем озябшие руки. Красные, большие, они так похожи на руки Надьки-дурочки.

– Стоп, – говорю я, удерживая в себе сердце, – стоп.

Я нашла. Вот что Надька делала в ту ночь, когда должен был наступить Конец Света. Когда мы бросили ее одну в Городе. Конечно же, она разожгла костер. Было холодно. Она же не знала, что костер зажигать нельзя, и грела большие озябшие красные руки.

– Снимаем, – говорю я.

Я сняла свою Легенду о нашем Городе.

Теперь можно уезжать.

* * *

Я иду в магазин за хлебом. Перед магазином – вечно разрытая яма. Опять прорвало водопроводную трубу, чинят. Я начинаю обходить яму по узкой опасной тропке, рискуя в нее свалиться. И вдруг уже в конце опасной тропы встречаю Надьку-дурочку. Подмышкой она несет буханку хлеба. Мы здороваемся с ней, стоя над глубокой ямой. Видно, что Надька рада мне. Я не знаю о чем с ней говорить. Я не знаю о чем с ней говорить, вот уже как тридцать лет, поэтому всегда только здороваюсь. Но теперь я почему-то медлю. Я смотрю в ее улыбчивое бессмысленное лицо, бессмысленные пустые глаза и зачем-то задаю дежурный вопрос: «Надя, как ты живешь?», ожидая услышать от нее такой же дежурный ответ: «Нормально». Но вдруг она глухо охает, будто я этим вопросом, словно обухом топора ударила ее по голове и у нее там, в голове прояснело, разум блеснул в ее глазах, она остро и ясно взглядывает на меня и произносит слова, которые рвут мне сердце: «По-разному, Света. Иной раз мне так тошно, хоть в петлю лезь. А иногда – ничего живу. Ничего...». Господи, кто из нас даун? – думаю я. Мы стоим над ямой, у меня кружится голова, и я понимаю, что если мы сейчас немедленно не разойдемся, то я рухну вниз. «Давай отойдем от ямы, – говорю я Надьке, – а то упадем». Надька смотрит вниз, на дно и говорит: «А я тогда здесь пряталась всю ночь, помнишь, когда нас американцы бомбили?». Мое сердце начинает разрываться на части. «Где пряталась, – спрашиваю я глухо. – в этой яме?» «Ну да, – говорит Надька.

– Меня в автобус не взяли, я побежала домой, было темно, и я в нее упала». «Ты просидела здесь всю ночь?» – спрашиваю я. «Сначала я кричала...», – говорит она и замолкает. «А потом? Что было потом?» – спрашиваю я. Но она упорно молчит. Ее опять замкнуло. Глаза ее заволакивает пленкой. Она смотрит на меня бессмысленно и пусто. Меня бьет колотун. Я осторожно обхожу ее и быстро иду к магазину. Я иду и плачу сухим плачем. Зачем я приехала сюда? Зачем я снимаю этот фильм? Господи, прости меня за Надьку, – прошу я.

Я оглядываюсь. Надька все также неподвижно стоит над ямой и смотрит на меня бессмысленными глазами.

– Надя... – говорю я ей.

Что-то опять блеснуло в ее глазах. Она делает ко мне шаг, и я бросаюсь к ней навстречу.

Я обнимаю ее, и она тычется своим лицом, враз ставшим от слез мокрым, в мое, как ребенок, не умеющий целоваться. Она целует меня не губами, а всем лицом: мокрыми щеками, лбом, подбородком...

– Мне было ТАК страшно там, – она скашивает свои глаза на яму. – Одной, без тебя...

Я смотрю в ее зареванное лицо и потеряно говорю:

– Я знаю, Надя... Надя, прости меня...

А сама вдруг понимаю, что Бог тогда спасал Надьку, а не нас. Если бы действительно началась война, мы бы в открытой степи погибли сразу же от первой ударной волны. А Надька в этой глубокой яме спаслась бы. Может быть, одна из всего человечества.

* * *

У режиссера перед отъездом нелады с сердцем. Сказалось перенапряжение последних дней. Я иду в штаб попрощаться с полковником Юрой.

Полковник сидит в комнате один. Он сидит за столом и что-то пишет. На мое приветствие, не поднимая головы, произносит что-то нечленораздельное.

– Вот, уезжаем, – говорю я. – Попрощаться пришла.

Юра, наконец, поворачивает ко мне свое хмурое лицо.

– Что? – говорит он, глядя на меня в упор. – Сняли кино про своего дурака?

Я теряюсь.

– Юра! Мы снимали фильм про мое детство, – осторожно говорю я.

– Не пизди! – вдруг говорит он утрумо. – Интеллигенты гребанные! – дальше он матерится, как сапожник.

Я разворачиваюсь, чтобы уйти.

– Ты думаешь, мы тут бараны, да? С одной извилиной? У нас разведка еще пока работает. Я с первого кадра знал, про что вы снимаете... – говорит он мне в спину.

– Так что ж ты не заложил нас?! – свирипею я тоже.

Он молчит и я оглядываюсь.

Он смотрит на меня несчастными глазами.

– Да снимайте, что хотите! – говорит он устало. – Города все равно уже нет. Все развалилось, – и добавляет горько и страстно, – Светка, ты что, не понимаешь?! Мы же страну просрали! Такую страну!..

Мы прощаемся с ним, примирившись. Он, кося своим конским глазом, вдруг смущенно спрашивает:

– Ты хоть про горку помнишь? Как мы с тобой неслись?

Здесь, в этом городе все всё помнят о своем детстве. И когда Бог призовет нас всех к себе, мы предстанем перед Ним малыми детьми, выстроившись в ряд, и будем рассказывать Ему о своем детстве, – как мы собирали в степи тюльпаны, как летели с ледяных горок и целовались, как лежали в степи и ждали смерти, – у нас есть что Ему рассказать, – но только о детстве, только о нем, потому что больше мы ни о чем не помним. И может быть, Он нас простит?

– Юра, я про нее, про эту горку, всю жизнь помню, – говорю я.

– Жизнь... – говорит Юра грустно. – Как быстро она прошла!

– От жизни останутся только легенды, – как эхо откликаюсь я. Эта фраза звучит во мне теперь всегда, как музыка.

– Если останутся, – говорит Юра.

– Я постараюсь, чтобы остались, – говорю я.

– Ты нас это... Не закапывай уж совсем, в фильме-то своем. Ты же местная, капъярская... Оставь людям надежду, – говорит он, заглядывая мне в глаза. И добавляет с уже совершенно другой интонацией, почти со стоном. – Эх, застареть бы быстрее, Светка, чтобы уже не видеть этот бардак...

* * *

Я выхожу и иду. Я иду по мертвому городу. Я иду по мертвой земле. Я иду по мертвой стране.

* * *

Мы возвращаемся в том же газике, и шофер у нас тот же румяный солдатик. Я сижу рядом с ним. За мной киногруппа, весело переговариваясь, чокается солдатскими кружками со спиртом. Я не пью. Заболела. У меня высокая температура.

Мы подъезжаем к памятнику Золотой Орде. Киногруппа хочет выйти и сфотографироваться на память. Я остаюсь в машине. Осенняя степь вокруг памятника распахана трактором. Чтобы подойти к нему, киногруппе приходится идти, проваливаясь в свежевспаханную землю.

У остановки стоит мужик и продает сушеную воблу. Киногруппа возвращается. Режиссер покупает у мужика воблу. Жалуется мужику:

- Не дойдешь до памятника... Озимые, что ли, сеют?
- Какие на х... в степи озимые? – откликается мужик.
- А зачем же распахали?

– Так золотого коня ищут. Хан Батый где-то тут закопал, – словно несмышленишу, отвечает мужик режиссеру, не объясняя, как само собой разумеющееся. Как будто это было вчера.

Валерий МИХАЙЛОВСКИЙ

ДУРАЦКИЙ ВОПРОС

Всегда, сколько помнил себя Георгий Евсеевич Дудкин, у него было ружье. Сначала отцовское, старое-престарое, неизвестного происхождения, потом ижевка, отданная соседкой после смерти мужа. «Боюсь я че-то это ружо, возьми, Жорик, себе, ничо мне за его

не надоть, только возьми – от греха подальше, не выбрасывать же...» И Жора взял, и никто никогда не требовал от него никаких справок ни на первое, ни на второе ружье. Да и охотился Георгий Евсеевич, понятное дело, без всяких там охотничьих билетов. Слышать-то он слышал о таких билетах, а вот, чтобы видеть – не приходилось. Село, где жил раньше, в такой глухомани заплуталось, что об нем не все в районе знали. Но то было раньше. Что было, то сплыло. Деревенька оказалась бесперспективной, и вскоре люди вынуждены были переселяться кто куда. Георгий Евсеевич, а дело у него к тому времени шло к юбилею – через год пятьдесят, решил перебраться в район. Но то только так говорится, что решил – баба решила. А ему куда: и с еенными прибабахами уже тошно, и без их, как тузику без блох – скучно. Родственники из району и работенку ему присмотрели на железке. Сами там всю жизнь спину гнут, и его туда же. А другой работы там и не сыщешь. С этой поры стал Георгий Евсеевич охранником на железной дороге, сторожем то бишь. Порядки городские после вольной деревенской жизни не по нутру пришлись ему: все по часам, дисциплину блюди, с запахом на работу ни-ни, начальника Васькой не называть. А как его звать – он же кум дальнему родственнику, за столом не раз сиживали, не одну бочку вместе выпили. Да и младше он – еще сорока нет. Они-то – родня, все его Васькой зовут, вот племяш, и тот: Васька – то, Васька – сё...

Тут еще с ружьем приключилась катавасия: участковый отобрал.

– Ты бы, Васька забрал ружо у участкового, – сказал на утро своему начальнику сторож Дудкин.

Того в краску шибануло.

– Ты мне «Васька» при сослуживцах не говори, дядь Жора, а то неловко как-то, – сказал укоризненно с тихим придыханием Василий Петрович, когда люди разошлись.

– Так заберешь? – продолжал напористо новоиспеченный охранник.

– Это так не делается. Строго сейчас, не то что раньше было. Нужно разрешение оформлять. Медкомиссию помогу в нашей ведомственной больнице пройти, только психиатра – в районке; в разрешительной системе у меня тоже знакомые есть, отдадут тебе ружье, но все нужно сделать по закону.

Георгия Евсеевича от этих слов даже замутило: разрешение оформлять, медкомиссию снова проходить... Особенно задело, что психиатра нужно проходить в районке, прямо-таки тренькнуло что-то в душе, будто недоброе предчувствие прорняло.

Как обещал начальник-Васька, медкомиссию в своей поликлинике проходить не пришлось: доктора просто переписали все из прошлогодней справки, а вот к психиатру пришлось все же ехать через весь город к черту на кулички. Понятное дело, что ко времени комиссии Георгий Евсеевич пребывал не в лучшем состоянии духа. Даже поздороваться забыл, а на приветствие доктора так ответил, что впору от такой здравицы окочуриться. Но доктор был невозмутим и, казалось, ничего его не сможет вывести из душевного равновесия. Георгию Евсеевичу даже показалось, что доктор смотрит на него будто бы насмешливо.

– В вырезвитель когда-нибудь попадали? – спросил доктор вежливо.

– Я под заборами никогда не валялся, чтоб меня менты подбирали, – с обидой раздраженно выдавил обследуемый, и сверкнул глазами исподлобья.

– А вообще, как часто выпиваете? – голос доктора не дрогнул.

– Вы что же меня все об выпивках спрашиваете? Давайте – по существу, я с вами водку пить не собираюсь, – глаза Георгия Евсеевича выпучились в напряге.

– А я вас и спрашиваю по существу, я ведь по совместительству нарколог.

– Кто? – не понял испытуемый.

– Нарколог.

Георгий Евсеевич не стал еще раз переспрашивать, сделал вид, что понял.

– А-а-а! – протянул он, – так, по случаю бывает, выпиваю, но, чтоб там под заборами валяться – никогда такого не бывало, – смягчившись, соврал экзаменуемый, и ему показалось, что он покраснел.

– Ну, а как часто бывают «случаи»? – продолжал доктор напористо.

– Что вы привязались, – сверкнул глазами Георгий Евсеевич, – ну, сосед зашел, ну, с охоты вернулся, ну, после баньки там, с устат-

ку. Ну, как все... Но, чтоб там валяться... К чему такие вопросы, ей-богу не пойму?

– Запой бывают? – голос доктора звякнул металлом.

– Какие запои? Я же в деревне всю жизнь прожил. Там – не в городе, за тебя никто скотину не напоит, жрать ей не даст. Разе будешь там запоями пить. Что за вопросы дурацкие, ей-богу. Детский сад... – от досады испытываемый отвернулся, уставившись в окно.

Доктор энергичнее стал мять ручку, вертеть ею нервно, сделал паузу, гулко забарабанил пальцами по столу. Потом замер, наклонился к испытываемому. Георгий Евсеевич само собой не заметил раздувшихся его ноздрей, и посчитал, что психиатр успокоился. Он окончательно утвердился в этой мысли, когда тот произнес с показным спокойствием:

– Ну, что ж будем тестироваться?

– Что делать? – спросил недоуменно, и от этого без нервов, потенциальный тестируемый.

– Сдавать тесты, то есть отвечать на вопросы. Я вам даю вот этот вопросник, а вы должны правдиво, откровенно, – доктор сделал на этом слове акцент, – письменно ответить. Здесь даются варианты ответов. Ненужное зачеркнуть. Все понятно? – строго спросил доктор.

– Понятно, отчего же не понять – не дурак, – как-то развязно сказал Георгий Евсеевич.

– Тут двадцать вопросов. Пять минут хватит?

– Хватит, – и Георгий Евсеевич деловито взял ручку и задумался над первым вопросом. Что-то черкнул в листочке. Вопросы ему показались легкими и даже простоватыми. Через пару минут он уже подал листочек доктору.

– Так-с, так-с, – доктор стал внимательно изучать листочек.

– Вы правильно зачеркнули вот тут?

Тестируемый посмотрел в листочек.

– Да, все правильно.

– Вы, что действительно часто устраиваете семейные скандалы?

– Ак, – спускать не то ли ей? Так она и на голову сядет. Приходится вразумлять. Если надо, то и рыло начищу, чтоб не повадно было, – испытываемого несло, и чем больше он о скандалах говорил,

тем больше его раззадоривало. На самом деле дома он всегда вел себя тише воды ниже травы, и слово кривое боялся своей оровитой супружнице молвить. А тут ему хотелось перед доктором покуражиться – вот, мол, я какой.

– А вот здесь, – доктор, будто не слушал своего пациента, – я правильно понял, что если бы вы увидели, что прохожий потерял кошелек, но никто этого не заметил, то вы присвоили его себе?

– Конечно, а как же. Дураков нет – что упало, то пропало. Вы же сами говорите, что никто не заметил...

– Да, такое условие. Никто не заметил, – голос доктора снова скрежетнул металлом.

– Вот видите, – выкрикнул радостно Георгий Евсеевич в азарте, не замечая раздражения своего экзаменатора.

Он сам себя не узнавал, но не мог остановиться. Будто ведун им руководит, или чертенок какой за язык дергает. Конечно же, он отдал бы кошелек человеку, потерявшему его, когда это бывало, чтоб он чужое присвоил, но тут... Ему не хотелось выглядеть простаком.

– А этот вопрос... я правильно понял, что вас часто посещают мысли – убить человека?

– Так я не о человеке. Что вы меня ловите на слове? Это я – о своей. Да ее иногда и убить-то мало. В прошлом году болотники вилами проткнула. И смолчала, сволочь... Так, что вы прикажете – пельменями ее угостить после рыбалки? Чуть в больницу не слег – ноги промочил... – и как бы в оправдание добавил: – нет, чтоб сказать, я бы заклеил, а так...

– Но это же была мимолетная мысль. Вопрос так поставлен, что ваше решение убить уже вызрело, и вы даже придумали, как вы это сделаете.

– Понятное дело, что сгоряча подумал... Потом быстро отошел. Что ж из-за сапог человека живота лишать. В тот раз я не думал о том, как бы я ее того... Но вот недавно было дело, – оживился Георгий Евсеевич, – я уж и не знаю, как сдержался. Я же все себе даже представил, как порешил бы ее, окаянную...

– Что, застрелить хотели? – теперь уже оживился доктор.

– Да что вы? Как можно стрелять? Кровищи будет, как из поро-

сенка. Все забрызгат. Жакан, представляете, как бьет? Я как-то медведю в глаз попал, дак ему полчерепа снесло. Смотреть страшно...

Доктор поморщился, и с опаской косяком глянул на распоясавшегося пациента. Барабанившие пальцы смолкли. Никогда еще ему не приходилось резюмировать такие результаты тестирования.

– Я тогда хотел ее вожжами придушить. У меня в коридоре вожжи висят. Сам не знаю, зачем повесил в городской-то квартире, – уточнил Георгий Евсеевич.

– Ну, чтобы жену задушить, – тихо сказал доктор.

– Да, нет. Зачем же? Я и мухи-то не обижу. Это, как говорит Васька, может знаете – начальник станции, была неординарная ситуация, вот и психанул... А вожжи – они ведь еще дедом моим сделаны. Память об ем, что ли... – тихим голосом изрек Георгий Евсеевич

Теперь экзаменуемый успокоился, выпустив пар, и сидел напротив озадаченного доктора-психиатра, опустив безвольно плечи. И, как будто, поняв безнадежность своего положения, спросил:

– Не прошел я экзамен, да? Не будет мне разрешения на ружо?

– Мы пока не закончили разговор. Рано делать выводы, хотя... А что за история произошла, так называемая неординарная ситуация, что вы могли задушить жену вожжами? – как-то вдруг оживился доктор.

– Да бросьте вы – не задушил бы я ее никогда. Мы же с ней, почитай, тридцать лет вместе. Куда я без нее? Детей троих нарожали. Уже и внуки есть. Какое там убийство? Это я так с горяча тогда подумал. Просто вожжи на глаза попались – об их, окаянных, и подумал... Вопросы у вас шибко дурацкие, вот и понесло...

Доктор опустил глаза и снова его пальцы выбили многозначительную выжидательную дробь.

Георгий Евсеевич пристально посмотрел на доктора, прикидывая можно ли поделиться с ним той историей. Он никому ее не рассказывал в силу чрезвычайной деликатности. Но на кону – разрешение на ружье.

– Так я слушаю. Из-за чего это вы хотели жену задушить? – прервал молчание доктор.

Георгий Евсеевич заерзал на стуле, отвернулся к окну, обмозго-

ывывая, как бы поделикатнее обсказать доктору то, о чем он никогда еще ни одной душе не открывался. Пальцы доктора снова задробили.

– Ладно, – расскажу, – он махнул безнадежно рукой. – Это было нынче зимой – в аккурат на Новый год. Угостил меня Васька кровянкoй: наши смены совпали, вот мы и оказались на работе в новогодний праздник. Я обход свой сделал, он тоже там со своими делами управился. С морозцу зашли в его кабинет обогреться. Васька-то и говорит, будь он неладен:

– Давай, – говорит, – по маленькой макнем. Все равно никого нет. Все за столом сидят, а мы что – рыжие?

Ну, и накатили чуток, закусили обильно. Кровянка показалась мне сыроватой. Ему-то хорошо, он в тепле дежурит, а мне – на мороз – положено все объекты обойти, да не раз за смену-то. Перед окончанием смены закрутило живот. Дотерплю, думаю, до дому, а то – весь укутан: пока рассупонишься на морозе, а ушел я к дальним складам, там удобства только на улице. Дотерпел, смену сдал и – домой бегом. Скрутило уже так, что мочи нет. Все же добежал до дому, кое-как поднялся на второй этаж: ноги уже слушаться перестали. Ключи кое-как нашел, чуть не потерял это...

– Что чуть не потеряли? – оживился доктор.

– Сознание... – нашел нужное слово Георгий Евсеевич. – Успел открыть квартиру, успел снять верхнюю одежду, успел штаны снять, и тут случилась, как говорит Васька – неординарная ситуация... У нее привычка дурацкая – крышку унитаза закрывать... – раздраженно закончил испытуемый. – Убил бы...

Живот доктора заподрагивал, но лицо старалось не выдавать себя. И только когда кончились конвульсии, он произнес:

– Я вас поздравляю – вы прошли тестирование успешно. Многие на вашем месте убили бы, – и поставил долгожданную подпись на вожделенной бумажке.

Всю дорогу домой в автобусе Георгий Евсеевич дремал, пытаясь отогнать витавший еще кошмар сегодняшнего тестирования. В коротких дремах, прерываемых выкриками кондукторши, ему снились вожжи: будто душит он ими свою супружницу, а она хрипит, брызгая слюнями, брыкается и совладать с нею нет никакой воз-

возможности. То он хватается за ружье, и тут же подкидывает упавшую низко голову, таращась безумными глазами в стекло городского автобуса... Привидится же такое.

Он открыл входную дверь, и сразу на глаза попались вожжи, залоснившиеся за долгие годы о лошадиные бока.

– Явился – не запылелся, – громко с привычным раздражением в голосе, крикнула из кухни жена, отреагировав на скрип двери, – Картошку снова некогда было принести из погреба? Скоро садить, а нам все некогда... Когда же она прорастет?

– Я медкомиссию на ружье проходил...

– Медкомиссию он проходил... Принесешь это свое ружье – выброшу его на хрен в реку, чтоб не маялся дурью! – уже расходилась благоверная.

Георгий, как обычно смолчал.

– Васька звонил, спрашивал про эту твою медкомиссию, – продолжала жена ворчливо, но уже снизив обороты, – на рыбалку завтра собирается. Пойдешь?

– Пойду, у меня завтра выходной. Че мне тут делать? – тихо ответил Георгий.

– Пока картошку не принесешь никуда не рыпнешься, – закончила разговор благоверная Георгия Евсеевича, не обращившись.

Георгий Евсеевич сняв вожжи с гвоздя, все это время стоял в коридоре вне видимости своей жены. Сделав шаг-другой, посмотрел в открытую на кухню дверь: жена стояла спиной, наклонившись над столом, нарезаая что-то ножом. И только, отпуская очередную реплику, руки ее останавливались, и она поворачивала голову в сторону коридора, чтоб громче выходило. Вожжи привычно холодили руку. Вдруг она повернулась:

– Ну, что стоишь, как пень? Проголодался, поди... Мой руки, садись за стол. А вожжи зачем снял? – спросила она удивленно.

– Да, вот убрать нужно... в кладовку, – и прибавил, понизив голос, – от греха подальше...

(Публикуется в авторской редакции)

ПОСЛЕДНИЙ ПОЛЁТ ШМЕЛЯ

Шмель проснулся раньше будильника. Хозяйка еще спала. Он потянулся, зевнул во всю свою изнутри пятнистую пасть, подобрался к лицу Хозяйки и лизнул.

– Надька, иди выгуливай Шмелю! – заворчала она спросонья.

Сонная Надька надела кофту, штаны и почапала в туалет. Шмель заподпрыгивал и заныл:

– Вот довозитесь, описуюсь прямо тут! Все собаки уже во дворе, вон – лают! Только меня не ведут гулять!

Наконец, Надька оделась, пристегнула прыгающего и ноющего Шмеля на поводок. Шмель галопом потащил ее по подъезду, и вылетел на улицу прямо так, с болтающейся на противоположном конце поводка Надькой. Он кинулся помечать все нужные географические точки двора, поздоровался с Белкой и Подкидышем. Эта сладкая парочка жила под крыльцом подъезда: она – крупная упитанная желтая дворняга с раскосыми глазами и улыбочивой мордой, он – пятнистый болончик, еле достающий ей до колена. Они не были супругами по причине фатальной разницы в размерах, и когда к ней прибегали здоровенные кобели, он просто переживал их нашествие, и даже помогал ей водиться с периодически появляющимися щенками. К Шмелю они относились дружелюбно, всегда здоровались, улыбались, частенько играли вместе. Надька выносила дворовым собакам чего-нибудь вкусенького – то косточки, то селедочные головы. Шмелю было не жалко еды для приятелей.

Завершив все утренние дворовые дела, Шмель потащил Надьку домой, с конским топотом проскакал через всю квартиру до спальни, проверил, все ли там в порядке. Хозяйка еще спала. Он ткнулся ей в щеку холодным носом, довольно фыркнул и попытался влезть под одеяло.

– Куда с грязными лапами! – отпихнулась она.

Не прокатило. Ладно, подумал он, придется лечь на кресле – тоже ничего. Шмель свернулся кралькой, а Надька разделась и забралась

под одеяло. Ага, ей-то можно! – ревниво подумал Шмель и только было заснул, как зазвонил противный будильник. Хозяйка прихлопнула его и еще немного понежилась в постели. Шмель знал, сейчас она встанет, пойдет умываться, а потом пойдет на Кухню. Если бы Шмель умел писать, слово «Кухня» он всегда писал бы с заглавной буквы. Хозяйка встала. Шмель ждал, пока она нащупает лапами тапки, накинёт халат. Он так и не мог понять, почему люди не ходят босиком, как собаки. Тряпки, которые они надевают – это понятно, это для красоты. Шмель сам любил нацепить на себя какую-нибудь тряпицу и щеголять перед Хозяйкой и Надькой, доводя их до слез от хохота. Смеялись и двое других людей, живущих в том же доме: Вожак и Приятель. Вожак ходила в длинной шубе, пахнувшей какими-то зверями,. А от Приятеля всегда пахло Машиной, в которой Шмеля возили в лес и на речку. Приятель был нестрашный, он часто играл со Шмелем, угощал его со стола вкусными кусочками, а когда Шмель был совсем маленьким, Приятель учил его лаять. Хозяйка звала его «Папа». Но это так – Приятель. Другое дело – Вожак. Она была самым главным человеком в доме. Хозяйку она звала «Наська», а Хозяйка звала Вожака мамой. Вожак могла даже – вот ужас! – отшлепать Хозяйку. Шмель как-то пытался ее защитить, но Вожак так посмотрела на него, что Шмель залез под диван, закрыл морду лапами и заныл от собственного бессилия. (Откуда ему, преданному и любящему, было знать, что люди могут ругаться в шутку – как например, подросшие щенки, играя, кусают свою мать). Сейчас Шмель вспомнил, как накануне вечером получил от Вожака свернутой в трубочку газетой, поморщился и вздохнул.

Если признаться, Хозяйка не умеет вылизываться. Лапы и морду она моет водой с противным вонючим мылом, от которого Шмель чихает. Делает она это так медленно, что легче умереть, чем дожидаться, когда она это закончит. Ведь после этого она всегда идет на Кухню! Наконец-то она умылась. Наконец-то она пошла на... Шмель не успел сказать это самое замечательное слово, как спавший с Надькой рыжий кот вскочил и распрямившейся пружиной, не открывая глаз, понесся за ней. Э-э, где же справедливость! Шмель кинулся вдогонку. Сейчас Хозяйка что-то даст! Ну, дай же, дай скорее, ну, ну, ну же! Чав! Ну, дай же, дай скорее, ну, ну, ну же! Чав! Ну, дай же,

дай скорее, ну, ну, ну же! Э-э! Почему коту?! Это несправедливо! Ну, ладно, а теперь мне! Чав! И опять мне! Чав! Да почему снова коту?! Ой, опять мне! Вот спасибо! А еще?

– Лопнешь! Брысь с кухни! – сказала Хозяйка.

Вот, так всегда... Только начнешь ощущать себя счастливым, как сразу облом...

Потом Хозяйка и Надька ушли. Они почти каждый день уходят утром, а Шмель их долго-долго-долго ждет. Шмель забрался, наконец, под одеяло, положил голову на уже спящего кота и заснул. Если спать, то Хозяйка придет быстрее. Сквозь сон он слышал, как уходили Приятель и Вожак...

...И вот шаги по лестнице. Шмель вскочил, прислушался – Надька! Он потрусил к двери. Ой, ну скорее же, чего так долго дверь-то открывать! Как писать хочется, и есть, и пить, и гулять! Да наконец-то! Вот, описался бы, пришлось бы вам, копушам, затираться! Шмель – галопом по подъезду:

– Надька, шевели лапами! Столько дел – надо опять поздороваться со всеми, переметить все старые метки, поваляться в снегу, попрыгать, потаскать тебя по сугробам!..

Ну вот, вроде, все успел. А теперь – ЖРРРАТЬ!!! Шмель галопом – обратно, на Кухню.

– Надька, шевелись! Давай жрать, у-у-у!!!

– Щас, подожди. Да не суй морду в кастрюлю! Да дай наложу в миску!

– Ой, как вкусно! Да, а что это было? А было ли? Или показалось?

– Вот проглот! Ну, ладно, на еще.

– Вот, это дело!

А в подъезде – шаги Хозяйки, какая, на фиг, каша!

Шмель бросился к двери, заплясал на месте и заныл:

– Надька, да открывай же дверь-то, Хозяйка идет!!! Ну, ну, ну же!!! Она уже поднимается!!!

Вот он, миг, ради которого стоило родиться! Хозяйка входит, и Шмель взлетает длинной пятнистой ракетой к ней на руки, обнимает лапами за шею, извивается от восторга (только бы не описаться, только бы не описаться!). Хозяйка орет:

– Да, Шмеля! Всю обслуявил! – и целует его в улыбающуюся до ушей морду.

Щеки Хозяйки пахнут снегом, а сама она – улицей, другими людьми и еще чем-то сладким. Но чужими собаками не пахнет. Это хорошо. А то, что пахнет Белкой и Подкидышем, это тоже хорошо. Лишь бы не было одного ненавистного запаха – огромного вонючего дога, которого Шмель с детства страшно ненавидел и однажды, еще в щенячьем возрасте, укусил за огромный сопливый нос...

Хозяйка кладет портфель, раздевается, моет лапы и идет на Кухню. Надька встречает:

– Настя, я его только что кормила.

Да кто тебя спрашивает, человека ты глупая! А вот и кот нарисовался! Вот, только тебя тут не хватало! Глазищи желтые выпучил на Хозяйку, ждет...

Ну, дай же, дай скорее, ну, ну, ну же! Чав! Ну, дай же, дай скорее, ну, ну, ну же! Чав! Ну, дай же, дай скорее, ну, ну, ну же! Э-э! Почему коту?! Это несправедливо! Ну, ладно, а теперь мне! Чав! И опять мне! Чав! Да почему снова коту?! Ой, опять мне! Вот спасибо! А еще?

– Хватит тебе! Брюхо уже – будто мячик проглотил!

– Какой еще мячик, никакой мячик я не глотал. Ну, дай еще кусочек! Ну, вот этого, вкусенького! Ну?

Не прокатило... Ладно, в другой раз. Зато Хозяйка дома.

И длинное пятнистое тело Шмеля, таксы мраморного окраса, извивается в восторге и любви от самого носа до самого кончика хвоста...

Хозяйка поела и села делать уроки. Шмель улегся на ее лапы в тапочках и задремал. Счастье.

Сквозь сон он услышал шаги Вожака в подъезде, сквозь сон же у него – мысль-вопрос: почему глупая Надька открывает дверь только после того, как постучат? Не слышит, что ли, шагов по лестнице?..

Лапы Хозяйки осторожно выбираются из-под его брюха. Он ухмыляется: Ага, думаешь, не замечу? Думаешь, дальше спать буду? Как бы не так! – Пошатываясь спросонок, Шмель ползет за Хозяйкой на Кухню.

Вожак пьет чай. Шмель подходит поздороваться, виляет не толь-

ко хвостом, а всем собой. Он не обижается на Вожака за взбучку газетой – сам виноват, нечего было тапочку Вожака таскать, посягнув на священное. Это у Приятеля можно таскать тапочки и прятать носки, в Надькиных тапках вообще можно кости грызть, ничего за это не будет. С тапочками Хозяйки можно спать в обнимку или класть на них морду. А тапочки Вожака, как и другие ее вещи, неприкосновенны.

Вожак попила чаю и села читать газету. Когда газета не свернута в трубочку, она не страшная – Шмель таких не боится. Он подошел к Вожаку и положил морду ей на колени:

– Ты не сердисься больше? Я больше не буду трогать твои вещи. Ну, погладь меня!

Вожак погладила его по пятнистой башке. Счастье. Шмель заперевирал лапами, завилял хвостом:

– А может, поиграешь со мной?

Вожак опять погладила его:

– Шмель, не приставай, видишь, я читаю.

Он пошел на кухню. Хозяйка готовила что-то вкусное. Надька собиралась выносить мусор. Шмель знал, что мешок с мусором Надька выносит на улицу и бросает в большущую шумную машину, а машина потом увозит его вместе с другими мешками. Он все никак не мог понять, зачем бросать в машину мусор, в котором можно еще прекрасно порыться и найти что-нибудь вкусное. Глупая Надька! А машина умная!

Шмель опять заглянул в комнату – Вожак читает газету, Хозяйка готовит, а Надька уже ушла. Дверь приоткрыта! Шмелю уже приходилось проскальзывать в неплотно прикрытую дверь и убежать на улицу. Это совсем не то, что гулять с Надькой или Хозяйкой. Когда один, без поводка, – от обилия свободы сносит крышу, сносит так, что хочется бежать и бежать, не касаясь лапами земли, хочется лететь куда-то, хочется раствориться в этой свободе, ликовать, беситься, уноситься куда-то в манящую даль. Все это, правда, – пока не вспомнится Хозяйка. И только вспомнится – Шмель остатком порыва взлетает на пятый этаж, останавливается у двери, принимает покаянную позу и начинает ныть:

– Простите, впустите, я больше так не буду, собачий бес попутал! Получает шлепка и прячется под кроватью.

Вот и сейчас коварный собачий бес шепнул Шмелю:

– Давай, скорее, пока Надька не пришла, успевай, пользуйся моментом!

Ужом проскользнуло в щель гладкое тело Шмеля – и ветер засвистел в развевающихся парусами ушах, ноги затопотали по ступенькам, свобода улицей хлынула ему в грудь. Боковым зрением Шмель увидел Надьку у большой мусорной машины, увидел людей с мешками и ведрами, увидел Белку с Подкидышем... И побежал Шмель, побежал, полетел, вдыхая свежий морозный воздух, ничего не видя и не слыша, и было ему легко и хорошо...

Он даже не ощутил страшного удара. Только вдруг его оторвало от земли, и он на самом деле полетел, переворачиваясь в воздухе. Летел он недолго – только и успел вспомнить Хозяйку, как упал на дорогу. Он будто увидел себя со стороны, лежащего на тающем от его тепла снегу. Он будто увидел подбежавшую удивленную Белку, сразу кинувшуюся его обнюхивать. Он будто увидел спешащего Подкидыша...

– Опять удрал! – сказала Хозяйка Вожаку. – Сейчас Надька его загонит, и сядем ужинать. Уже почти готово.

Надька пришла одна.

– А где Шмель? – спросила Хозяйка.

Надька выбежала из подъезда, огляделась, зашла за дом и увидела лежащего на обочине Шмеля. Она не помнила, как подняла его теплое тяжелое тело и понесла домой. Она поднималась по лестнице и выла. Собачья душа думала – что это она. Она хотела, как обычно, лизнуть Надьку в нос, но почему-то не могла.

Услыша Надькин вой, Хозяйка открыла дверь.

– Настя, Шмелю машина сбила! – провыла Надька.

Хозяйка взяла у Надьки мертвого Шмеля и сползла с ним по косяку двери. Собачья душа хотела сказать: «Прости меня, Хозяйка, что убежал, я больше так не буду!» – Собачьей душе хотелось вскочить и завилать всем своим собачьим телом, обнять всех лапами, облизать всех. Но у собачьей души не было ни тела, ни языка. Все сидели

около Шмеля, задыхаясь, выли. Потом еще теплого Шмеля положили на чистую простынку в прихожей, сели рядом, гладили остывающие уши, спину Шмеля, держали его грязные мокрые лапы и снова ревели. Вожак пыталась утешить Наську и Надьку, говорила, что Шмель теперь в собачьем раю, что ему не было больно и он даже не успел испугаться. Кот ходил вокруг, нюхал Шмеля, трогал его лапой, отходил и снова возвращался, не понимая, что произошло, почему друг не шевелится и страшно пахнет кровью. На следующее утро кот, едва проснувшись, кинулся к уже холодному Шмелю, сел рядом и заплакал.

Приятель, Хозяйка и Надька унесли Шмеля далеко в лес, выкопали в мерзлой земле глубокую могилу и похоронили его вместе с его любимым ошейником, с поводком и любимой игрушкой-ежиком. Когда его вынесли из подъезда, подошли Белка, Подкидыш и рыжий Чака, тоже друг, хотели пойти провожать Шмеля в последний путь, но их не взяли – далеко и холодно. Вожак хоронить Шмеля не пошла. Она сидела дома и редела.

Было Шмелю три с половиной года, он любил и был любим, и жизнь его была радостной и счастливой.

P.S. Скоро Шмелиные следы на снегу замело, а его метки на столбах переметили другие кобели. Собачья душа немного поскиталась и переселилась в только что родившегося черного таксёнка.

Евгения ГУТ

ШОК

Когда мы уезжали в Израиль, со мной прощались навсегда.

Люська попросила не писать. Я даже не вникала: то ли это не понравится её мужу, то ли может отрицательно повлиять на его карьеру.

Он был юристом алмазного прииска и Люськиным студентом-заочником. Она умела подчинять свои желанья интересам брака,

ради счастья в доме бросила науку, со мной рассталась навсегда, без права переписки.

Ольга дала понять, что в теме, но откровенничать не стала. Она, как будто ненароком, обронила такую фразу:

– Есть другой самоучитель по ивриту, и он толковее составлен, чем тот, который у тебя.

Мой самоучитель она застала в кухне на столе, но не открыла, а сказать – сказала. Значит, знала, как он составлен. Знала и другой. Об остальном нетрудно догадаться.

Вовка провожал душевно, но признался, что писем никому и никогда не писал. Он убеждал, что песни легче сочинять, чем письма.

К тому же, Вовка был в то время «человеком без адреса», семья еще держалась, но трещала по всем швам.

Жена попёрла в гору – директор супермаркета! Как на Урале говорят простые люди, нос кверху – сопли пузырём.

Ей не до Вовки было, а он тогда еще нуждался в её внимании и дочкиной любви. Вовка пел в кабаке. Вредная работа. Он пел и пил все дни недели, без выходных и праздников, работал наизнос.

Единственный, кто не отказался от переписки со мной, – это Стариков. За полгода до моего отъезда он был освобождён из зоны и сразу стал давать концерты по всей стране. Шансон звучал повсюду, народ боготворил его песни и его самого. Русский народ всегда был сострадателен на уровне, мол, от тюрьмы да от сумы не зарекайся!

Когда Саша оставлял у моего подъезда машину, а это был военный ГАЗ с открытым верхом, мальчишки нашего двора с трепетом её бока оглаживали шершавыми ладошками и ждали, когда он выйдет. Соседи думали, что это друг моего мужа: крутой, высокий, ясноглазый.

Я даже не пыталась объяснять. Всё понимала моя соседка через стенку – школьная химоза. Она смотрела и молчала.

Ей было нечего сказать, она, наверно, понимала, какая грусть останется у каждого из нас, она была взрослее и мудрее...

Мы деловито оплатили все услуги государства и таможни, отказ от гражданства и радовались, что уезжаем навсегда.

Какое-то время на волне первых восторгов я из Израиля писала регулярно, а Саша аккуратно отвечал и даже выслал фото на фоне шлязов Волго-Донского канала. Счастливый и свободный, популярный.

Я описывала красоту морского побережья и многоголосие восточного базара, россыпь фруктов, яркость солнца и фантастическую праздничность цветов.

Я ему писала, как странно выглядит на улице толпа: все в шлепанцах и трикотажных майках. В шортах ходят старики и дети, а розы, хоть и очень много их цветет повсюду, но не пахнут совершенно, будто из бумаги.

Стариков писал мне о себе как о спортсмене-марафонце, который вышел на дистанцию вслепую и не знает, сможет ли её осилить. Как дальше сложится – не знает.

Кроме воли к победе и азарта, которые у него были, ему много чего не хватало. Старт был низким: ни связей там, где надо, ни друзей в высоких сферах, ни умения пригнуться и прогнуться у Старикова не было в помине. Но воля и азарт топили льды препятствий.

Я нашу переписку прервала сама, как только поняла, что векторы движения по жизни, его и мой, вдруг развернулись в разных направлениях, как сложенные вместе два прямых угла, прижатые к абсциссе. У Старикова получалось всё!

Как правильны слова о том, что поднимается лишь тот, кто падал. Он поднимался вверх, а я зажмурилась и вниз летела с ускорением свободного падения.

Я въехала в свой первый эмигрантский лабиринт. Маленькие дети, смертельная болезнь у мамы, муж попал под пресс разочарований и занялся переоценкой ценностей, и я – без языка, без денег, без работы...

Сгруппировалась, будто перед кувырком в спортзале. Все мои силы были направлены на поиск выхода из лабиринта.

Атлетика была не легкой, а тяжелой.

Штангу я с трудом удерживала на уровне груди, тряслись от тяжести и руки, и колени. Но удержать на уровне груди – ничего не значит. Необходим рывок!

Не оставалось сил на посторонние дела, тем более – на ложь, которая должна быть вероломной, чтобы в неё поверили, как в правду...

Не оставалось у меня на это сил. Я не могла соврать, поэтому и

замолчала. Я опасалась, что эмигрантский стон услышит Стариков в моих восторженных словах про запах апельсинового сада. Тем более, тогда сады цвели под звук сирены, предупреждающей о СКАДах с боеголовками, возможно, – и уральских, которые Ирак нацелил на Израиль и бросил тридцать девять штук. Война в Заливе. Это было страшно! Помню, Настя испугалась. Трое взрослых в противогазах склонились над разбуженным посередине ночи ребёнком.

– Я вас боюсь!– она истошно закричала, – мой противогаз у мамы, где она?

Настя заревела под сирену, но от страха. Ей было всего четыре года!

Мой брат снимал документальный фильм о разрушениях в Рамат-Гане, а у родни из Савийона у дома треснула стена от близкого падения снаряда.

Вышколенная бабушками гордость не позволяла мне унизиться до правды. И лгать не позволяло воспитанье. Я замолчала, переписку прервала...

На рывок по-прежнему не набиралось сил, но уже без дрожи в руках и коленях я удерживала штангу на уровне груди, а кто-то безжалостно наращивал её вес...

На рывок не хватало то ли сил, то ли смелости, и вдруг я толкнула эту штангу от отчаяния, от необходимости вытащить своих детей из зыбких песков культурного шока.

Оказалось, что не только мы, взрослые, продираемся через непроходимые заросли гигантских кактусов и аспарагусов.

Случайно выяснилось, что и дети изрядно исцарапаны сухими колючками, но прячут свои занозы и болячки от наших глаз.

Сашуле было восемь. Она в школе учила таблицу умножения.

Почему-то один пример никак не запоминался: трижды четыре – двенадцать. Всякий раз она тянула с ответом, производя в голове длинное сложение.

По всей квартире мы расклеили листочки, на которых яркими фломастерами было написано на все лады: $3 \times 4 = 12$ и $4 \times 3 = 12$.

Дети ужинали. Нам казалось, обеспечив их лучшей, чем прежде, едой и одеждой, мы уже создали им лучшую жизнь. Их счастье было

оправданием нашей полной неустроенности, профессиональной не востребованности, – всех взрослых проблем.

Нам казалось, что их лица уже излучают счастье. Поэтому мы позволяли себе с мудрыми улыбками на глупых лицах слушать песни Вили Токарева.

Он пел: «...я, наверно, сяду в танк и возьму тараном банк, чтоб решить с финансовым вопросом!» – мы улыбались. Он оправдывал и обобщал эмигрантские страдания:

«нищета – это вещь нехорошая... не оплачены в банке счета... нищета ты моя, нищета...»

Все через это проходят, и в Америке, и здесь! Главное – детям хорошо, а мы уж как-нибудь пробьёмся!

Дети ужинали – мы ими любовались: девочки выросли, поправились, цвет лица нагуляли! Видимо, для полного счастья в такой момент нам не хватало интеллектуального триумфа.

Мы с мамой незаметно начали викторину. Вопросы были по программе здешних школ и детских садов. Девчонки отвечали радостно, наперебой, пока я не спросила про трижды четыре.

Впервые моя восьмилетняя дочь дала развернутый ответ:

– Почему вы все уверены, что это двенадцать?

Это там, в России, было двенадцать! А здесь – Израиль!

Здесь всё – другое! Всё: и детский сад, и школа, и учителя, и люди, и язык, и воздух!

– Это там было – двенадцать! А здесь, может, и не двенадцать вовсе! – она осеклась, но собралась с мыслями и продолжила:

– Иврит не учите! Настя больше вашего знает! А вы всё по-русски да по-русски. Мы уехали оттуда – учите иврит! Йохи сказала, только на этом языке Бог разговаривает с людьми!

Мы молчали, побитые камнями детского отчаяния.

Настя прижалась к Сашкиному локтю своим плечиком, и они стояли перед нами, как у расстрельной стенки.

Бедные мои девочки! Земля разверзлась у них под ногами! Уцепиться не за что! Мы перестали для них быть надежной защитой, и они усомнились во всём: в том числе и в нас, во мне.

Уже через три дня я работала в уважаемом частном агентстве, а через три месяца заказала, увязая в долгах, автомобиль. Я снова становилась мамой-солнцем, с которой не страшно, которая не подведёт, не предаст.

Любое отступление назад я приравнивала к предательству – училась держать удар.

Оказалось, что моя прежняя идеология была ошибочной. Перестроиться мне помогла киевская миллионерша, которую я сопровождала в её поездках по Израилю. Мы оказались почти ровесницами и очень сблизились. До сих пор я вспоминаю о ней с теплом и благодарным чувством.

Она объяснила мне простую вещь: не надо стремиться меньше тратить – надо больше зарабатывать! И каждый день радоваться жизни так, как будто завтрашний день может не наступить.

– Живи сегодня! Каждый день живи, как будто он – последний!

Очень скоро с ипотекой на всю оставшуюся жизнь мы купили квартиру. Больше всех радовалась Саша:

– Я уже не буду бездомной переселенкой!

Она принесла из школы бразильскую ёлочку – араукарию. Им на уроке ботаники, в тропической теплице, саженцы давали за бесценок, чтоб научить ухаживать за ними. Сегодня эта ёлка выше крыши.

Мой первый лабиринт был сложным и запутанным, со множеством глухих стен и тупиковых ходов.

Но путь из него обозначился неожиданно и сам по себе, как свет в конце тоннеля.

Кто помог? Быть может, тот, который говорит с людьми на древнем языке? Но этого не может быть, поскольку быть не может!

Я никогда не верила в него, преподавала атеизм и в жизни не молилась!

К тому же, говорят, что, если люди к богу обращаются – то это их молитва, а если людям отвечает бог – то это голоса шизофрении и диагноз. Кто же мне помог? Может быть, из сил последних – мама...

Она в тот год шагнула в вечность...

НАКАРКАЛИ

(то ли сказка, то ли быль)

Вот все говорят, что ворона к несчастью каркает. Потому и не любят вороньего племени. Удачу, значит, отпугивает, беду накликает. А вот я утверждаю со всей ответственностью своей, что иногда и от вороньего карканья людям польза бывает.

Вон, к примеру, мельник Иконников. Кто его до 15-го году знал? А как мельницей обзавелся, так не то что в селах окрестных, а и в самой Тюмени люди с ним за руку здоровались. А все ведь из-за того, что вороны ему накаркали.

Вот я и говорю, что где-то до 1915-го году был этот Игнашка Иконников самый что ни на есть лядащий мужичонко в Каменке, в селе, стало быть, нашем. И не то, чтобы руки у него не из того места росли (и в наше время такие есть, и в то время также рождались), или ленив был. А вот просто не везет человеку – и все тут! К примеру, начнется в селе падеж, так у кого первого – у Иконникова. Другие под это дело еще и распахать свою скотину успеют по дальним ярмаркам, а Иконников – горемыка – на полном нуле. А если, не дай Бог, пожар, так у кого первым дом схватится – к ворожее не ходи – у Иконникова. Волки зимой в чей овин залезут – точно в Игнатовский. Словом, жил так он себе годов до тридцати. И хотя от отца с матерью ему и хозяйство неплохое досталось, и земля, годам к тридцати ничего не осталось у него. Вот и пришлось ему подрядиться лес валить. Там как раз мужик один из зажиточных участок себе под постройки готовил. Вот Иконников да еще пара мужичков и подрядились весь лес на участке вырубить.

Прибыли на место, поначалу, как водится, обошли весь участок, обмерили, осмотрелися. Потом балаган себе соорудили, где, значит, ночевать чтобы было. А поутру – за работу. Спорно работа идет. Недели две, три ли прошло – половину участка вырубил. Тута все и получилось. Среди деревьев, что для порубки предназначены были,

на самом берегу ручья лесного – старая верба. А на ней гнездо воронье. Поначалу-то думал Игнаша, что заброшенное то гнездо. А так получилось, что надо ему эту вербу свалить. Глядь – а у гнезда ворона сидит, а в гнезде воронятки малые. Жаль их Игнату, да работу-то надо справлять. Взмахнул топором. Только тут ворона из гнезда порх ему под ноги. Каркает, за штанину хватает, в сторону тянет. Отпорхнет в сторону, и опять под ноги бросится. Понял Игнат, что просит она его пощадить деток своих вороньих. Добрый он был. Не стал ту вербу рубить. Тут мужики, его напарники, подходят – ты, мол, что это?

– Да вот, – говорит, – воронят жалко. Вишь, как мамаша ихня убивается.

– Так что ж нам теперь, работу бросить?

– А вы погодите пока тута рубить – с другого конца участка зайдем, а там, глядишь, воронята и оперятся, улетят.

– Ну, коль ты чудак такой, так погодим пока. Только все равно не успеют оне опериться.

На том и порешили. А Игнашка теперь каждое утро к той вербе подходил, проверял, не выросли ли воронята – чудак, словом, полный. Да еще соберет остатки кой-какие после ужина, что остались, и под вербой той и положит, сам отойдет чуть в сторону. Ворона с гнезда слетит. Кусочек схватит – и дитят своих кормить. А потом подлетит к Игнату и каркнет:

– Кра-кра, – спасибо, мол за угощение.

Словом, подружились.

День за днем идет. Выбрали лесорубы весь участок. Одна только та самая верба с вороньим гнездом и осталась.

– Ну, Игнат, – мужики говорят, – ты, конечно, извини, но не можем мы больше в лесу сидеть. Пора заканчивать и расчет получать. Жаль воронят. Да что поделаешь...

Только Игнат давай их просить:

– Вы за расчетом ступайте. Я тут и один управляю. День на день оперятся воронята, улетят. Я тогда и подчищу все тут. А коль заказчик пенять будет, так пусть из моей доли удержки произведет, не против я.

– Вот чудак ты совсем, Игнашка, – дивятся мужики, – но, коли ущербу нам не будет, – так Бог с тобой, – оставайся, пестуй воронят своих.

Остался Игнат в балагане один. День проходит, другой, неделя, а воронята всё в гнезде сидят, никак не улетают. А ворона-то до того к Игнату привыкла, что каждое утро и вечер сама к балагану подлетит, усядется на землю, и давай перед Игнатом выхаживать.

– Кар-кар, кар-кар, – мол, как поживаете?

Сколько уж там времени прошло, а только как-то поутру прилетает ворона к балагану и давай над ним кружить. Да каркает вовсю. Игнату аж не по себе стало, вышел из балагана, а ворона над самой головой его круг сделала:

– Кар-кар, – кричит, подлетела почти к самому Игнатову лицу, а потом резко в сторону – по-орх. Игнат понял, что за собой она его зовет. Пошел. Приводит ворона Иконникова к той самой вербе, где гнездо ее. Глянул Игнат – а воронята-то уж большие. А рядом с гнездом огромная ворона сидит. Седая вся. Тут Игнатова ворона-подружка и давай с той седой переговариваться. Качнет головой в сторону Игната:

– Кар-р-р? – просительно так.

Седая в ответ:

– Кар, кар, – ворчливо так, будто старуха.

Игнатова ворона головой из стороны в сторону покачала и давай свое просить:

– Кар-р-р, кар-р-р?

Слушает их Иконников и диву дается, никогда не видел прежде он, чтоб вороны эдак между собой переговоры вели.

Долго вороны меж собой перекаркивались. Наконец, седая вспорхнула с гнезда, сделала круг над Игнатовой головой, отпорхнула в сторону и кричит призывно:

– Ка-р-р!

Понял Игнат, что зовет она его куда-то. Пошел за ней. Седая отлетит маленько, сядет куда-нибудь, каркнет – подзовет Игната, пождёт, когда он подойдёт, и опять в сторону.

Вот приводит седая Игната на поляну. А там старая-старая оси-

на, наклонилась к земле, половина корней наружу торчит, ствол трухлявый. Садится седая ворона на эту осину. И ну каркать. Игнат сперва понять ничего не может. Тогда седая подлетает к нему и ну за топор клевать (у него за поясом топор был заткнут). Тут уж Игнат смекнул, что она от него хочет. Взял топор да как по осине стукнет. Развалился трухлявый ствол, и посыпались на траву золотые червонцы. Седая ворона:

– Карр-карр. – Забирай, мол.

Собрал Игнат деньги, да и назад на участок отправился. Приходит к вороньей вербе, а на ней ни гнезда, ни вороны той, ни воронят.

Возвратился Игнат в деревню, мужики к нему с шуткою:

– Ну что, пастух вороний, всех воронят высидел?

С той поры у Игната дела на поправку пошли. Со всеми долгами рассчитался, мельницу поставил. И хотя по-честному с людьми обходился, стали как-то люди его сторониться, уж больно замкнут он стал. Хотя, с другой стороны, люди-то, на деньги его глядя, перестали его по-простому Игнатом звать. Все больше Игнатом Егоровичем, а только самому ему это вовсе и не по вкусу пришлось. И хотя теперь многие богатеи за честь с Иконниковым породниться считали, так он и не женился. Хотя мельницу его стороной и не обходили, наоборот с дальних деревень приезжали, – цену-то за помол он не гнул, все ж шептались промеж себя: «Ой, наверно, связался наш Игнаша с нечистой, куда один в лесе-то сидел». А еще заметили, что уж больно много ворон вокруг мельницы его летает. Да и сам Игнат видом изменился. Волосы, прежде того кучерявые были, а тут распрямились, нос удлинился, словом, что-то воронье в его обличье появилось.

Торговлю собирался открыть. Так, глядишь, может, и в купцы бы вышел, кабы революция не грянула. Не сразу, конечно, но и до Иконникова у новой власти руки дошли. Кто-то из своих деревенских, видать, нашептал, куда надо, что не все деньги, что в лесу нашел, Иконников в оборот пустил, что, мол, у него ещё золотишко осталось, и если потрясти...В то время при советской власти много всяких проходимцев прицепилось, были и те, кого хоть прямо в

тюрьму самих сажай. Ан нет, понацепляли кожаных курток, наган на пояс – вот те и новый полномоченный. Вот к такому полномоченному и попала анонимка на Иконникова. А только напрасно все.

Ночью приезжают к Игнату. А того и след простыл. Весь дом перерыли, так ничего не нашли. Может, успел Иконников золото перепрятать. А может, у него и не было ничего более. Кого-кого и нашли товарищи, так это сидящую на плетне седую ворону. Посмотрела она на полномоченного да каркнет ехидно:

-Кар-р-р. – Дурак ты, мол.

Полномоченный аж со злости в нее из нагана выстрелил. Да только не попал. Каркнула ворона еще раз, вспорхнула, сделала круг над головой полномоченного со товарищами и с глаз пропала.

Игната с той поры так больше никто и не видел.

А полномоченного этого вскоре свои же большевики и расстреляли – видать, разобрались, что он за птица.

Возраженья ваши предвижу. Мол, како же это счастье, коли в конце концов Игнат Иконников сам сгинул куда-то. А ответьте мне тогда, что, вороны революцию сотворили, откуда ж птицы знать могут, что люди этакую глупость сотворят. А на мельницу, что когда-то Иконникову Игнату принадлежала, до сих пор ворона прилетает. Большая такая и седая вся, как зола.

Марат ШАГИЕВ

СТРАШНАЯ СИЛА

Генка Иванов дежурил в слесарке в Новогоднюю ночь. У людей – праздник, а у него... Всегда так. Он был не очень умный парень и последовательно сидел по два-три года почти во всех классах школы, начиная с первого. А что ты хотел? Тяжелое наследие прошлого: родители – алкаши. Опять же, его постоянные залеты. Чего уж там. Приходилось вот дежурить в ночь с тридцать первого на первое.

Раздался телефонный звонок. Очередная заявка. Ладно. Звонил Голото, начальник шестнадцатого цеха. Что-то бубнил, бубнил. Генка переспросил адрес, записал в журнал и пошел. Он его знал. Да и кто его не знал в поселке?

– Гена! Вот кран течет, и унитаз прохудился, не держит воду. Почини. У меня гости с детьми. Впереди – неделя выходных. Сам понимаешь. Сделай, ради бога.

Ладно. Гена слышит, что тот уже про бога вспомнил, посмотрел унитаз и кран, определил причину, сбегал в слесарку, взял новый поплавок с клапаном, прокладку вырезал. Пришел и все это поставил. Складывает инструменты слесарные.

– Выпьешь?

– Да вы что, нет, конечно. Нам на заявке нельзя.

Сам думает: догадается или нет заплатить. Материал-то новый, как говорится, муха не сидела, Гена взял его из своей закладки. А с другой стороны – начальство! Как скажешь?

Гости шумной гурьбой вышли из зала, обступили Гену. У каждого в руках рюмка с водочкой. И ему преподносят на подносе, как будто свадьба какая-то. Гена рюмку взял, поднес ко рту, но замялся...

– Давай, Гена, пей. Видишь, тебя сам начальник просит. Ну-ка, давай, и без разговоров. Праздник же...

В общем, денег не дают. Помялся, помялся еще Гена... Раз налили – он и выпил. Ему ту недопитую бутылку сунул Голото на прощанье. Но Гене показалось, что сунул так, как будто брезговал потом из нее пить. Что-то такое промелькнуло в его судорожных движениях, когда ту бутылку двумя пальчиками отдавал. Но Гена думает: ладно, показалось, наверное.

Идет Гена по освещенной улице, жуется. Снежинки кружат в воздухе. В голове, на манер снежинок, мысли приятные блуждают. Внутри – тепло разливается. Хорошо. Еще Гена думает: «И чего я плохо о человеке думал? А он-то вон каким нормальным мужиком оказался. А то, что нас, слесарей, брезгует, так они же чистенькие все, не то что мы».

Пришел Гена в слесарку. Как говорится, сердце в сладком трепете... Бутылку недопитую только-только на стол поставил, еду достал,

чтобы принять все это внутрь. Думает: посижу. Но даже дверь закрыть не успел. Бац!.. Заходят начальник ЖКХ Гайнов да из месткома активист один, Кондратьев. «Оппаньки!.. Че это они?»

– Здорово, Гена.

– Да, здравствуйте.

Гена так растерялся от неожиданности, что даже бутылку со стола не убрал. Сам думает: «И чего приперлись, умер кто-то, что ли?»

– Понимаешь, Геннадий, – начал Кондратьев. А у самого глаза бегают. Засмутился и Гайнов.

– Ну, говорите, чего уж там.

– Жалоба на тебя, понимаешь ли, поступила... Людей обижаешь. Поборами занимаешься. Вон, уважаемого человека обидел.

Голос Кондратьева потихоньку окреп и к концу речи уже разил Геннадия и обличал.

– Кого я обидел? – по инерции спросил Гена, действительно мало что понимая.

– Голото Андрея Георгиевича.

– А кто вам сказал про Голото?

– Сам он и сказал. Позвонил и сказал. Еще ругался очень.

– Вот, козел, – вырвалось у Гены. – Да он сам же мне... – и осекся. Понял Гена, что все это бесполезно, и будет он битый со всех сторон. Тем более, бутылка та на столе стоит.

– Ладно. Акт будете составлять?

– Будем. А там вынесем на общее собрание.

– Да делайте, что хотите.

– Бросить тебе надо пить, Геннадий...

– Вот только не надо этого, не надо, начальник. Составили акт? Составили. А сейчас оставьте меня в покое. У меня тоже праздник.

* * *

Если сказать, что Гена просто обиделся, то значит, ничего не сказать. Он был взбешен. Человек образованный еще может как-то сдержать себя, чувства будут кипеть в нем внутри, в мозгу, незаметно для окружающих, так сказать. Но учился Гена в школе неважно, и эмоции, клокотавшие в нем, запросто вырвались наружу.

Короче, скоро об инциденте узнала вся слесарка. Впрочем, он это и не скрывал.

Но, тем не менее, общее собрание единогласно осудило «не наш» поступок Геннадия. Всем же известно, что начальство захочет, то и сделает. А коллектив?.. Не тайное же голосование? Впрочем, были и такие, кто порадовался чужой беде. Да всегда так. Его лишили премии. Прошел месяц. Все уже стали забывать об этом. Мало ли чего не бывает в родном коллективе. «Ну, оступился товарищ. Нам надо было его осудить, направить на путь истины. Что мы и сделали». Побушевав, Гена тоже, вроде, успокоился...

* * *

Андрей Георгиевич ничего не умел делать в жизни хорошо – разве что с упоением учить, как надо это что-то делать. О, тут Голото был мастак. Ремонтировать ли машину, срубить ли дом, вопросы рыбной ловли или утонченной политики, даже какие-то познания в гинекологии и акушерстве имел. Если надо, то пожалуйста... Такое порасскажет. Как будто и роды ребенка сам принимал... А про рубку дома? И про клеть, и про матицу, и про рубку в лапу или в обло, про чешуйки там разные, наличники. А сам рубленого дерева в глаза не видел, не то что роды. Одно слово – талант. Худой, в очках. Из тех, что пока на него смотрят, он, вроде, порядочный человек, а когда в тени да по-домашнему, то способный, кажется, на многое... А что? Глупо было б – ведь никто про это не узнает. Со временем он научился иметь свое собственное мнение, но какое-то такое мнение, что оно подходило ко всем. То есть с каждым по очереди он имел разное мнение. А собственное свое? Да плевать он хотел на собственное и свое. Со своим мнением в наше время далеко не уедешь и карьеру не сделаешь. О, это была хитрая штука. Имея прекрасную память и обладая от природы ловким, находчивым умом, Голото, хохол по национальности, вначале с новеньким из начальства сам ничего не говорил, а больше слушал. И рано или поздно, но новенький потихоньку проговаривался и излагал свою точку зрения по тому и иному вопросу. Андрей Георгиевич никого не осуждал, резко по поводу никогда не высказывался – но он ее, точку зрения,

тут же запоминал. И запоминал намертво. По крайней мере, с ним не было ни одного случая, когда бы он что-то перепутал. Зато потом, через два-три месяца, когда человек начисто забывал, что он там говорил, Андрей Георгиевич вдруг сам выдавал то мнение, которое он когда-то услышал, запомнил, но теперь он выдавал его как свое. Для чего он это делал? Все просто. Он поступал так осторожно только с нужными людьми. Человек, услышав от другого свое родимое мнение, буквально загорался энтузиазмом, расцветал. Андрей Георгиевич даже готов был поспорить с кем-то в угоду другому, но выше по должности. Это легко делать, заранее все просчитав. Поступая таким образом, он очень многого добился. Везде стал своим человеком. Буквально за два-три года скакнул в кресло начальника цеха, минуя даже должности зама. Дирекция завода, посоветовавшись конечно, с товарищами, как когда-то было принято выражаться (оно и сейчас осталось, хоть время ушло, а выражение и, главное, стиль руководства остались те же), хотела уже рекомендовать Андрея Георгиевича в... Да, да. Свой человек нужен и там, в городской администрации. Короче, Голото делал стремительную карьеру.

Андрей Георгиевич живо уловил перспективу нового назначения. Для закрепления результата надо было пригласить кое-кого из руководителей домой.

Андрей Георгиевич вечером набрал у себя в кабинете по прямому проводу Гасникова Виталия Рауфовича, бывшего парторга, а сейчас из руководства завода, Захарова Артема Николаевича, из финансового управления, Рашидову Фанузу Камалетдиновну, секретаршу генерального, еще кое-кого. Все получалось прекрасно. Завтра в шесть ноль-ноль вся эта теплая компания со своими половинами и половинками должна была прибыть в его трехкомнатную квартиру на третьем этаже нового шестизэтажного кирпичного дома. Адрес его квартиры, конечно, и дураку был известен.

Домой Андрей Георгиевич ехал в черной «Волге», сидя рядом с личным шофером. Настроение было прекрасное. Ему уже чудился его новый кабинет, большая приемная. А что? Пора, пора выходить в люди. Что может помешать ему? Да ничего. Нет такой силы в природе, чтобы...

Но дома его ждал неприятный сюрприз. Унитаз из голубого фаянса, вероятно, засорился, и тухлая, черная, вонючая вода, булькая, лилась из него прямо на новые красные дорожки. Самое неприятное: вода была горячей. Запах стоял ужасный. Даже парило. Андрей Георгиевич при виде всего этого впал в протрацию: к несчастью, он был малодушен. Но супруга, Вероника Моисеевна, живо привела его в чувство.

– Хер ли ты встал, как вкопанный. Завтра гости!.. Забыл?..

Голото сразу вспомнил про гостей и про Гену, но...вспомнилось и другое, и тоже сразу. Нет, Гену нельзя.

– Черт! За язык что ли тянул кто-то... Проявил принципиальность на свою голову. Дурак, послушался разных там...Еще эти гости...

Он решил позвонить Гайнову домой. Благо, тот жил в соседнем подъезде. К несчастью, Мавлета Шарлоимовича не оказалось дома. Но надо было что-то предпринять. Из-за глупости такое дело срывалось...Только, что можно было тут сделать?

Всю ночь с унитазом творилось что-то непонятное: то вода, постояв, постояв, начинала потихоньку уходить, то, вероятно, забыв, что есть канализационный стояк диаметром сто миллиметров, куда ей и положено было уходить, бойко перехлестывала через край унитаза и лилась себе в коридор квартиры. Причем вода была горячей!.. А попробуйте нагреть фовно? Аромат стоял по всей квартире еще тот. Во что превратились паркетные полы, даже сказать было неприлично. Но почему вода шла горячей? Этого ни жена, ни сам Голото не могли понять. Стояк-то был с холодной водой. Мало того: почти до полуночи трубы на кухне и в туалете шипели и свистели. Как будто в них нескончаемо лилась и лилась вода. Но краны-то были закрыты. Короче, чертовщина какая-то.

* * *

На следующий день в десять часов утра целая бригада слесарей-сантехников: водопроводчиков и ассенизаторов в новеньких робах и с целым арсеналом новеньких же разных запчастей: прокладок, манжет, пакли, сальников, поплавков и т.д. и т.п. (ради такого случая в срочном порядке в субботу была вызвана кладовщица Фая,

которая все это им и выдала, и еще – в авральном порядке дежурила на своем складе, сидела на телефоне, на случай какой-нибудь надобности). Бригаду возглавлял опытный и совершенно трезвый Соловьев Паша – в обиходе просто Соловей.

Соловей на миг остановился на пороге квартиры, но, сознавая всю важность своей персоны, только хмыкнул – зараза – и как был с улицы, так и протопал в грязных сапожищах через всю квартиру и прямо к унитазу. Жена Голото, Вероника Моисеевна – Козлиха – конечно, все это тут же заметила, но смолчала...Ее полная грудь под шелковым платьем лишь чуть всколыхнулась, и откуда-то из ее необъятных белых недр пролился вдруг в воздухе и поплыл тонкий, едва уловимый аромат каких-то нездешних духов. Остальные, подручные и консультанты – человек пять – остались стоять у порога. Гены Иванова среди них не было.

Соловей рассеянно слушал долгие и сбивчивые рассказы Козлихи, которые в основном сводились к «мы такого натерпелись, это какой-то ужас, Андрюшенька очень впечатлительный да вы все его должны беречь и на руках носить...» Но не дождавшись окончания, приступил...

– Санек, трос!..

Санек, стоя у порога и тупо таращась на роскошь обстановки квартиры, при окрике Соловья очнулся, сбросил с плеча полевую сумку на пол, которая тяжело загрела металлом, и, покопавшись, достал оттуда стальной трос, обернутый белой фланелью, и с порога протянул руку.

– На!..

Но Соловей не мог унизиться до такого, чтобы самому пойти и взять трос. Он даже не повернул головы. Казалось: сейчас еще закурит да философски подымит. Поэтому Санек, потоптавшись, потоптавшись, разулся (к тому времени Козлиха, конечно, полы уже успела помыть) и, стыдясь своих рваных носков, на цыпочках понес инструмент.

– Разворачивай, – скомандовал Соловей и, не выдержав роль до конца, сам стал ему помогать.

Вдвоем они быстренько размотали сталистый, но достаточно

мягкий тросик, метра четыре длиной, оканчивающийся рукояткой – обычной сплющенной медной трубкой, изогнутой под прямым углом, в которую был продет конец тросика. Инструмент был сделан удобно и просто. Приятно было смотреть на людей, хорошо знающих свою работу и поэтому работающих без лишних суетливых движений, слаженно. Соловей направил свой конец тросика в жерло унитаза и стал потихоньку преодолевать сопротивление фарфоровых изгибов водяного затвора, а Санек все это время, не переставая, вращал рукоятку. В умелых руках тросик покорно полез внутрь и начал обследовать канализационное нутро. Вот он залез полностью. Соловей вытащил тросик назад. Чисто!.. Опять пропустил, опять вытащил.

– Ничего не понимаю, – пробормотал Соловей.

– Андрей! Ну-ка сбегай по стояку к жильцам ниже. Узнай, топило их или нет?

Андрей вернулся быстро, и сказал, что соседей не топило и что у них все в порядке. Тут уж Соловей, никого не спрашивая и не обращая внимания на Козлиху, действительно закурил. А та все еще стоя в дверях в зал, то ли из любопытства, то ли твердо решив не пускать внутрь всю эту подвальную шоблу, старательно ловила взгляд Соловья. Она уже поняла, что что-то пошло не так, и что эти сегодня вряд ли ей помогут.

– А почему вода в унитазе горячая?

– Как горячая? Такого не может быть. Стояк-то с холодной водой, – очнулся из забытья Соловей. Он уже подрастерял всю свою утрешнюю спесь.

– Посмотри сам. И трубы всю ночь гудели.

Соловей зашел в туалет, открутил бобышку крепления крышки унитаза, приподнял ее, отставил в сторону, опустил руку внутрь, в воду – и опешил. Вода действительно была теплой на ощупь. Такого Соловей еще не встречал за всю свою многолетнюю жэкэошную практику. Он быстро прошел на кухню к смесителю. Бросил профессиональный взгляд. Смеситель был не наш, вывезен из эмиратов, фарфоровый.

– Понакупите разную иностранщину, вот у вас и...все не слава

богу. Не идет такой смеситель на наши русские трубы. Понимаешь: не идет. – Соловей умел поднапустить демагогическую дымку. Все неволью заслушались. – Тогда вон Петя Русин прибежал. Говорит, что паркет в квартире вздулся. Как вздулся? Пошли. Смотрю: действительно вздулся, лежит весь горбом. Ба! А паркет-то не наш. Тонюсенький, как бумага. Он его откуда достал? Оттуда!..

Соловей поднял руку и неопределенно показал, откуда был завезен паркет. Но все поняли откуда.

– А на окнах вместо нашей ульяновской столярки, смотрю – евроокно. Все ясно. В наших-то квартирах полуторократный воздухообмен предусмотрен через наш, родной, русский проем. У нас даже не окно, а проем называется, если по проекту. А евроокно предусматривает принудительную вентиляцию. А разве она есть в наших квартирах? Нет. Вот и...влажность повышенная поэтому и паркет намок и вздулся. И шуба жены покрылась плесенью...

Повисла тишина.

* * *

Виталий Рауфович давненько уже подбивал шашни к Фанузе Камалетдиновне. Был он мужчина грузный, видный, громкоголосый. Голосом окреп на бесконечных собраниях да заседаниях. Он охотно выступал всегда и везде. Сперва, до перестройки, активно проводил в жизнь линию партии, потом... потом – просто линию. Но тоже активно. Да все эти линии – в конце концов, все это было неважно. Главное: овладеть вниманием масс, а там уж... Одно слово – лидер. Ему нравилось быть в центре. Говорят же: звук собственного голоса действует на оратора возбуждающе. Есть и такие ораторы, которые, горячась, могут довести себя при этом до иступления, до мокрых волос на лбу, до мутного взгляда и пены изо рта. Гасников – точно... был одним их таких. А Фануза – одинокая, татарочка, беленькая – хоть и была секретарем генерального, как-то умудрилась сохранить голосочек тихий и спокойный. Бродя, и слова лишнего не скажет, но все вещи у нее на месте, все папочки разложены по полочкам, в приемной – прибрано, свежо. Может быть, ее женственность, аккуратность и притягивали Виталия Рауфовича. Сам он с документами ра-

ботать не привык, да и не умел. Был даже в этом небрежен. Вот он и зачастил к генеральному, вернее – к его секретарше. Под предлогом обучения его работы с документацией. Но в приемной генерального, где всегда торчал народ, особо не поговоришь. Домой прийти к ней – тоже, вроде, неудобно. Поэтому Гасников обрадовался предложению Голото, воспринял его как возможность лишний раз посидеть за столом рядом с Рашидовой. Ему нравилась эта женщина. Сердце сжималось, как представлял себе ее в своих могучих объятиях. Такую беленькую, трепещущую... Ох, дальше не мог. Конечно, сжимал бы он ее при этом очень бережно. А Фануза спокойно принимала его ухаживания, но дальше этого дело не шло. Сегодня Виталий Рауфович решился наконец-то перейти к активным действиям. Взгляды, даже самые нежные, женщину ни к чему не обязывают. Нет уж, сколько можно так переглядываться? Гасников купил огромный букет махровых голландских роз, коробку конфет, дорогую бутылку французского вина. Вроде бы, и к случаю, и в то же время здесь же будет она, его маленькая, тоненькая Фануза. Весь обвешанный подарками, Виталий Рауфович молодежavo поднялся на третий этаж и небрежно надавил звонок. Но дверь почему-то долго не открывали. Гасников надавил еще раз, энергичнее, уже теряя терпение. Руководители такого ранга не привыкли долго ждать. Наконец, дверь робко приоткрылась, и из-за нее показалась испуганная и испачканная чем-то вроде сажи рожица Андрея Георгиевича. Но что у него был за вид? До пояса он был... голый. На нем было только старенькое черное трико, провисшее на коленках, а на ногах какие-то стоптанные калоши. В руках – мокрая тряпка. Виталий Рауфович остолбенел. Но по инерции все же заглянул через плечо Голото в глубину квартиры. Что он хотел там увидеть?.. А увидел он там полный разгром... Аж обои свисали со стен мокрыми тряпками.

Виталий Рауфович сунул в руки оторопевшему Андрею Георгиевичу букет роз и молча, не слушая торопливые и сбивчивые объяснения того, даже не пытаясь в них вникнуть, чтобы что-то понять, повернулся и пошел вниз. Большого унижения в своей жизни, кажется, ему не доводилось испытать. С этого момента для него Голото просто перестал существовать в этой жизни. В голове молотом

стучала одна и та же мысль: «Мог же позвонить, предупредить. Есть же телефон, в конце концов. Значит... не хотел». Тут глаза Виталия Рауфовича сузились и в них появился металлический блеск. «Да, Голото. Рановато мы тебя... Ну уж ничего... и сказал я ему: капитан, никогда ты не станешь майором.

* * *

«На пожаре я был всего один раз, и то в роли зрителя. Помню, горел дом на нижней улице. Дом тот стоял в тупике. Поднялся сильный южный ветер, и на крыше, вероятно, от высокой температуры стал с треском лопаться шифер. Ветер дул в сторону нашей толпы. Естественно, что наша толпа, человек в двадцать, отошла еще. Мы уже стояли метрах в пятидесяти. Казалось, что ближе к горящему дому и подойти нельзя. Но смелые люди в неуклюжих брезентовых робах и красных касках не только подходили ближе, но даже заходили внутрь и что-то оттуда выносили. Вот гулким огнем и ветром разметало по всей улице кучу бумажных денег. Они бесконечно кружили в воздухе, потом лежали на земле разноцветной мозаикой, но никто из односельчан не поднял ни одной бумажки. Даже не притронулся. Казалось: люди не замечали этих соблазнительных бумажек разного достоинства. Это я хорошо запомнил. Еще я запомнил, как молодой пожарный топором срубил яблоню перед окнами и зачем-то вышиб две рамы. Еще – перед воротами ходила какая-то растрепанная женщина с распущенными волосами и все порывалась зайти в дом, но ее туда уже не пускали: огонь разошелся не на шутку – и она вырывалась из рук и при этом выла нечеловеческим голосом. Нам, детям, было очень страшно.

Потом мы, дети, если случалось пройти вечером рядом с этим домом, боялись даже взглянуть на его черные останки. А взглянуть тянуло невероятно...»

Все это рассказывал мне Василий Конюхов, мой знакомый. У него был дом в Ершовке, небольшой деревушке, расположенной по левому берегу речушки Курасан. Купил мужик домик под дачу. Был наездами. Бабка-соседка за домиком присматривала. Он ей за это привозил из города продукты. Мы иногда собирались вместе с

детьми, женами, топили здесь его баньку, отдыхали. В этот выходной собрались так же, как обычно. Натаскали воды, затопили нашу родную. А сейчас, пока баня протапливалась, пошли вот вдвоем с Васькой поглядеть на его картошку. Благо, идти было недалеко.

– Сегодня, пожалуй, уже никто и не вспомнит, – продолжал он, – кто первый стал на этом месте сажать картошку. Так-то недалеко от деревни, всего километра два с небольшим. Но дорога опять же не ахти... Пешком предпочтительнее. А чего? Прошел топкое место, пролез сквозь густые заросли ивняка с черемухой, и вдоль покосов, покосов; да если еще в летний-то погожий денек. Эх!.. Одно удовольствие. Но когда начинается копка и дожди на носу, а хочется, конечно, картофель посушить перед закладкой в погреб – тогда да, это далековато получается. У каждого же скотина еще.

А земля, зараза!.. Пласт черный-пречерный: полдня вглубь копай, а до камней не докопаешься; значит, очень плотный пласт, особенно после дождей, оно и понятно: чернозем. Я приспособил для этих целей вилы, сваренные из прутка-десятки, и с цельной орясиной на черенок. Тяжеленные-претяжеленные, но зато легко вонзающиеся в землю чуть ли не под собственным весом.

Да что говорить? Какой урожай? Как при первобытном строе: с сотки накопать десять ведер – уже считается хорошо. Да сходи, узнай, кто эту картошку во всей деревне умеет сейчас вырастить? Если честно, то никто. Да и раньше никто не умел выращивать. Только раньше земля сама по себе хороший урожай давала. Вон, какая картошка была! И у всех подряд. Зато теперь... А ты хоть что делай – все равно нет урожая. Сейчас и работать-то на земле никому не хочется. Землю Шкиряков, местный алкаш, на тракторе на один только разочек и вспашет, и проборонит. Тьфу. Бывает, здоровенные пласты такие нахерачит, что до июня месяца вручную потом их разбиваешь. Материшься, конечно. А как же без этого. Кой-какие семена да как попало сунешь в землю, а та еще потеряет влагу, живость – и всё. Считай, что до осени. А колорадский жук? А сорняки? А люди нечестивые? Представил? Какой, к черту, урожай. Так, ерунда одна...

Да воруют, конечно. Кто? А хрен его знает. Бездомных нынче

много. Бомжевать модно стало. Тьфу!.. Руку запустят в землю под стебель и самые увесистые клубни соберут. Корень, вроде, стоит нетронутый, а урожай-то нет, тью-тью... одна мелочёвка, которую потом только скотине на корм и пустишь.

Когда в две лопаты копаешь, то не так сильно ухайдакаешься. Особенно, если кто-то третий помогает собирать. А комары, опять же. Одно лето вовсе оводы одолели. И откуда только так много их повылупялось? А место чистое. Зелень кругом. Облака по небу плывут. Краски природы. Красивое все – будто нереальное. Когда ослепительно-яркое солнце светит, то день тускнеет, что ли. Глядишь, глядишь – ну как куриная слепота в сумерках, представь. Короче, комары, оводы, мухи и ты со своею слепотой. А жара такая, что голова кругом. Хорошо!.. В полукилометре, в зарослях ивы, ольхи, черемухи – река-речонка... Рядом – покосы. Ну, огород под бугром; повыше – березки стайками. Да сам скоро все увидишь...

* * *

Помню, именно здесь, на опушке леса я и встретил Генку Иванова. Васька к тому времени ушел дальше: посмотреть заодно еще покос деда Тимофея. Он сделался всю деревенским, вдруг стал во всем разбираться и все деревенское понимать. А я решил вернуться. Я шел, наслаждался прекрасным видом. Вдруг внимание мое привлек странный неуклюжий человек. Я еще подумал: хромой какой-то. Кто же это? Ба! Гена. Мы с ним как никак в одном классе один год проучились, пока он в очередной раз не остался. Разговорились.

– А я теперь на инвалидности. Да. Ты-то вон какой важный стал. Институт, небось, окончил.

– Генка, как ты здесь оказался? И так далеко? Тебе же, наверно, тяжело до остановки дойти?

– Я не пешком. Братан, вон, у лесника остался. Хочет договориться насчет новогодних елок. А я так, за компанию. Вот пошел пока... На машине догонят.

– ?

– Да, да. Сейчас надо беспокоиться. Потом поздно будет. Конкуренция. Эх, елки, елочки. Раньше, помню, мы их рубили в лесу.

Украдкой, конечно. Боялись. У нас в М. они не растут, а растут ближе к З. У нас же: маленькие, плоские и уродливые. Это считай, все елки такие, прямо в обязательном порядке. А сосенки? Тонюсенькие, контурные стволы. Потом, под прямым углом отходящие четыре-пять веточек от каждой стороны. Напоминают зеленые перышки. Такие же детско-пушистые. А за хорошими елками надо ехать дальше в лес, ближе к З.

– Кого-нибудь из поселковских видишь?

– Ну, а как же. Вижу, конечно. Сашку Буслаева, Витьку Смирнова. Ты Витьку-то знал? Еще на похоронах всегда на тарелках играл. Бам-бам... вспомнил? Сейчас он растолстел, шайба такая.

Я не знал ни Сашку Буслаева, ни Витьку Смирнова. Это, наверное, было уже после меня. Но сказал, что, конечно, знал: не хотел обижать Геннадия.

– Слышь, Гена! А ты козла помнишь?

– Какого Козла?

– Залесенского.

– Голото, что ли?

– Ну.

– Как же!.. Такое не забудешь.

– Где он сейчас, не знаешь?

– Завхозом в больнице работал, тапочки выдавал. Да умер же он...

– А от чего?

– Да у него сердечко как будто пошаливало. Переживал сильно. Да тварь, короче. Ну его...

– А что там за история была, с фовном еще?

– Ты и про это знаешь? Я взял тогда бутылку, отпил доньшко, привязал на толстую леску, разметил расстояние и опустил через стояк на чердаке. Как раз чуть ниже унитаза Голото получилось. Днем еще туда-сюда, а утром и вечером, когда люди начинают водой пользоваться, туалетом там, ванной – и фовно со всех верхних этажей потекло в квартиру к козлу. Здорово!.. Вода постоит, постоит – и уйдет потихоньку. Тросик в дырочку тоже хорошо проходит. Опять же, я иногда поднимал свою бутылочку. Подожду немножко, а дня через два-три снова опущу. Красота!..

– А вода горячая в туалете?

– Это совсем просто. Как раз, помню, Салават и ставил этот смеситель. Фарфоровый. Ну, смотрю, он торопится что-то. Я спрашиваю: куда ты? Он достает из сумки этот смеситель, говорит, что у Фаи только что получил. Смотрю: новенький. И говорит, что Голото понес ставить. Что ты, начальство. Они же ничего сами не покупали, только бесплатно все. Тьфу!.. Да козлы они все, если честно.

Ох, помню, как у меня руки зачесались, что-нибудь моему устроить. Я Салавату и говорю. Сходи, мол, за пузырем, я денег дам. Потом выпьем вдвоем. У меня нога болит. Сходишь? Отвечает: схожу. Сумку бросил, побежал. А я смеситель разобрал и махонькую дырочку просверлил в перегородочке до прокладок. Понимаешь? Снаружи все чисто, сухо. Краны смесителя закрываются, снаружи – вода не капает, нигде не течет. И опять же, днем все нормально. А ночью, когда разбора воды нет, горячая вода передавливает холодную и начинает течь в холодном стояке: у нее же давление выше. И попадает в бачок унитаза козла. А там – аромат!.. Всю ночь еще труба гудит. А все эти сантехнические профессора, да что они на хрен знают? Так и не смогли ведь дотункать.

– А как ты стеклянное доньшко пилил? Чем? Стекло же, вроде, не пилится...

Гена посмотрел на меня, как на несмышленища, и только махнул рукой.

– Элементарно, в воде. А чем? Ни за что не догадаешься... Как –нибудь в другой раз расскажу, – хмыкнул он и поковылял в сторону деревни.

* * *

Я был поражен сметливости простого русского мужика. Нет, это же страшная сила, обиженный русский мужик!.. Есть над чем задуматься...

БЫЛИ В САДУ АБРИКОСЫ...

Притча

Красивые, с бархатистой кожицей, сочные плоды этого дерева напротив нашего дома были величиной с куриное яйцо. Наши односельчане не переставали удивляться:

– Чудо природы, подарок судьбы! Ну и везет же тебе, Гочаг! Мир твоему дому, счастья, благополучия твоей семье!

Летом мы садились прямо под абрикосину, расстилали покрывала и тут же пили густой ароматный чай. Чай цвета петушиного гребешка. Порой от малейшего дуновения ветра прямо на наш «стол» падал спелый плод.

И мы, восемь братьев, наперегонки кидались к нему. Кто всех ловчее, тот и съест.

Часто к нам приходили соседи. Приходили с большими пустыми вёдрами.

– Слушай, Гочаг, – обращались они к моему отцу, – Разреши набрать фруктов. Уж больно хороши! Сын-студент приехал домой, хочет в город хозяйке квартиры гостинец отвезти. Так что – можно?

– Конечно, можно!

Пришедшим отец никогда не отказывал. Еще, бывало, и меня, как одного из шустрых, пошлет:

– Полезай! Потряси ветки.

Я изо всех сил тряс, и фрукты, как град, сыпались на землю. Так из года в год всем селом мы весело собирали урожай с щедрого дерева. И мы, дети, воспринимали это как должное: тем, чем богат человек, он всегда должен делиться с другими.

Наше дерево было не как у всех. На нем были такие заманчивые плоды – крупные и сочные.

– А ты к ним, что с вёдрами у тебя толпятся часто, за чем-нибудь обращаешься? – однажды, чуть прищурившись, спросил вдруг моего отца старик-сосед. – Часто?

Я не понял тогда его вопроса. Очень многого я тогда еще не понимал. Но время, годы, обстоятельства заставили задуматься: некий, не очень уж добрый смысл в том вопросе был все-таки заключен. Он был как предостережение.

Я хорошо помню, как люди со словами благодарности клялись в своей готовности выручить отца, когда будет нужно. Клялись. Но что были те слова? Далеко уносил их ветер...

В нашем селе стали появляться незнакомые люди. Они что-то строили, объясняли, что наше старое селение должно превратиться в посёлок городского типа. Наше чудо-дерево попадало «под план». Здесь должна была проходить теперь дорога.

Пришлось отцу собственноручно срубить абрикосовое дерево. Надо сказать, он почти не горевал. Или просто виду не подавал?

– Велика беда – посадим другое! Вырастет лучше прежнего.

Но так уж случилось, что начались у нашей семьи вскорости неприятности. Они как сговорились, шли одна за другой, будто толпились у нашего дома, будто караулили нас на каждом шагу. Сначала пропало в горах небольшое стадо овец. Старший брат недоглядел, заснул не вовремя. Заболела и пропала корова. Часто прихварывал самый маленький братишка Али. Вся извелась мать. Что-то не ладил со своим начальником по работе отец. Он был гордым человеком, но ему ничего не оставалось делать, как пойти на поклон к соседям. К тем самым. И что же? Ушел от них с тем, с чем пришел. С чем приходил он к ним, с тем и уходил.

Находили люди оправдания и мотивы своим отказам.

– Прости, но сын женится. Овец дать не могу. Свадьба! Сам понимаешь, – говорил один.

– Рады бы помочь, но наша корова что-то совсем молока перестала давать, – говорил другой.

А третий, чуть завидев на улице, просто отворачивался. Не дай Бог, чего попросит...

Отец мой был великим оптимистом и к временным невзгодам относился с каким-то юмором. Как это помогало нам жить! Он посмеивался, вспоминая нелегкие годы, и повторял беззлобно:

– Были в саду абрикосы, было садовнику и «здравствуй», и «до свидания». Кончились – куда вежливость у людей делась?

Один из многих горьких законов помогло понять мне абрикосовое дерево: не всякий человек способен отплатить добром за добро. Но что поделаешь! Не стал я от этого злее. Не стал вроде бы расчетливее.

Спасибо за это дереву моего детства...

Сергей КОЗЛОВ

САПОГИ

Серо было этой осенью. Промозгло. Серо настолько, что казалось, солнце уже никогда не выглянет. Так и угаснет свет. Растворится в сумраке кронштадтских улиц. И снег не выпадет. Оттого и лица у людей были смурные, недружелюбные.

А тут идет по улице молодой священник и улыбается. И так улыбается, что светло вокруг него. Кто-то улыбнется ему в ответ, подойдет под благословение, иной же нырнет в сырую тень проулка, как будто света испугается, третий будет долго смотреть ему вслед, словно забыл спросить чего...

Архип и Федор, завидев священника, тоже юркнули в арку двора.

– О! Щас нам Бог на четверть подаст! – сказал Архип. – Давай, Федор, скидавай свои сапоги!

– Чего? – не понял Федор.

– Скидавай сапоги, а то не успеем.

– Да, а чего? – не понял Федор.

– Видел же, отец Иоанн идет, ему до дому чуть осталось. Выйдешь навстречу босиком, он ни за что мимо не пройдет. Свои отдаст. Сымай, ты и одет похуже. На босяка сойдешь.

– Да грех это! – дошло до Федора.

– Какой грех? – скривился испитым лицом Архип. – Ты человеку добро помогаешь делать. Батюшка у нас юродивый. Утром бы успели к раздаче у дома, так по три копейки бы каждому взяли... Пропали. Давай же! – Архип уже стягивал с товарища сапоги. – Давай.

Я тут схоронюсь, а ты просто иди навстречу. – И почти вытолкнул босого Федора на улицу.

Федор какое-то время стоял, удивленно рассматривая свои грязные босые ноги, бахрому заношенных штанин, почувствовал, как холод брусчатки пробирает и поднимается вверх.

– Иди! – крикнул из арки Архип.

И Федор пошел, опустив голову, глядя на свои неухоженные ноги. И очень ему вдруг захотелось, чтобы батюшка не заметил наготы его ног. Так захотелось, что аж душу защемило, похмелье отступило, будто его можно было вылечить стыдом. И шел он, словно крался, вдоль стен. Авось проскочит...

Не проскочил.

– Ты что, любезный, босиком? Ноябрь на дворе... – услышал он голос священника над своей грешной головой.

– Да вот... – более и сказать не мог ничего.

– Потерял, пропил, сняли? – только-то и спросил батюшка.

– Сняли, – механически повторил последнее услышанное слово Федор.

– Ну, прости их, – сказал отец Иоанн, – может, им нужнее.

– Угу... – Федор не подымал глаз.

– Вот что, мне тут совсем немного осталось. Бери-ка мои! У меня новые. Вчера подарили. Точно тебе говорю. Размер у нас, похоже, один. Бери-бери!.. – священник уже стягивал с себя сапоги.

– Да, это... батюшка... – Федор не поднимал глаз.

– Одевай! Так оба мерзнем, а так – один обутый будет. Одевай.

– И сам стал одевать Федору свои сапоги. – А мне тут с квартал осталось. Пойду. И ты иди с Богом. Да не напивайся более. – Перекрестил и пошел.

Когда Архип подошел к Федору, тот плакал. Так и стоял, как оставил его отец Иоанн. И плакал. Слезы капали на новые сапоги, подаренные священником.

– Ну, чего я говорил?! – радовался Архип. – Пошли, в лавке у Морозова поменяем.

– Грех это, – всхлипнул Федор.

– Да чего ты?! – не понимал Архип. – Догони и отдай, раз так! По-

мрем с похмелья! Может, нам Бог его руками подал? Чуешь? То-то... Грех – это, вон, карманники – в Андреевском-то соборе уже и не по одному карманы чистят. Теснота там на службах такая, что рука сама в чужой карман лезет. А мы не крадем! Мы по милости взяли... Пошли... – Архип подтолкнул Федора, – пошли. Там, вона, обратно переоденешь... да пошли быстрее к Морозову, он новые сапоги для кого из своих рабочих возьмет.

И вправду – сапоги на бутыль-четверть и еще на кое-какую снесь сторговали. И ушли пить сначала в дворницкую к Архипу, а уж когда, как водится, внутрь попало, то остальное, коли душа просит, найти проще. И сапоги батюшкины забылись...

И забылись бы совсем, коли Архип на последние двадцать копеек не подхватил бы извозчика до трактира «Мыс Доброй Надежды», где надеялся встретить одного своего старого собутыльника из бывших матросов. И встретил ведь! И дальше гулянка пошла. Пили под корюшку на развернутом листе «Кронштадтского вестника». И Федора уже подхватило и понесло, и голову закружило, да вот когда очередной раз ставил рюмку на стол, встала она, как нарочно, на объявление в газете о том, что в доме трудолюбия будет читаться слово протоирея Иоанна Ильича Сергиева против неумеренного употребления спиртных напитков. И снова Федор увидел, как руки священника надевают на его грязные ноги новые ладные сапоги.

– Господи... – только-то и смог прошептать, и никакой алкоголь не мог более приглушить голос совести.

Сам по себе трезветь начал. И от вида водки затошнило даже.

– Пойду я, – сказал тихо Архипу, который травил какую-то байку матросам.

– Чего? – изумился Архип.

– Пойду, – твердо ответил Федор и поднялся. – Без меня дальше.

– Так это?.. – Архип не знал, что сказать.

– Не сердчай. Чего-то мне худо...

– Ну так. От водки бывает. Но водкой же и лечится, – вставил хмельной друг Архипа.

– Н-не... Пойду я...

И пошел сквозь трактирный гомон и дымную хмарь, но и на серой холодной улице ему не хватало воздуха. В Андреевском соборе

ударил к вечеру колокол. Федор вздрогнул, вздохнул глубоко, насколько позволяла грудь, и пошел, пошатываясь, в сторону храма... Околоточный, что спешил в трактир на шум начинающейся драки, посмотрел на него с подозрением, но останавливать не стал. Зато остановился рядом извозчик.

– Двадцать копеек в любую сторону, – сказал он привычное.

– Нету у меня... Я в храм... – почти прошептал Федор. – Надо мне. Худо...

– К батюшке? На общую исповедь? – спросил извозчик. – Садись, и мне, пожалуй, пора съездить. Садись, денег не возьму, а то упадешь где-нибудь, замерзнешь.

– Да что же это такое, Господи? – изумился Федор и полез в коляску.

* * *

– Вот, матушка, Василий Федорович, велели передать, – посыльный кланялся Елизавете Константиновне.

– Какой Василий Федорович? – матушка с грустью смотрела на сапоги.

– Морозов, матушка. Помните, батюшка Иоанн молился, когда дочь у него болела. Вот тот. На словах сказал, мол, батюшка, может статься, опять без сапог придет. Обует сирого кого...

Матушка с изумлением смотрела на сапоги. Потом подняла взгляд на посыльного.

– Да не ты ли на прошлой неделе их и принес?

– Я! – широко улыбнулся посыльный. – Точно я. Те – самые. Их сегодня забудыги Василию Федоровичу сторговали. А он и купил. Потом меня к вам отправил. Просил только ничего батюшке не говорить. Пусть, говорит, будут, как будут. Не скажете ничего? – посыльный обезоруживающе улыбался.

– Не скажу, – вздохнула Елизавета Константиновна. – Чай, не первые сапоги...

– А тут еще припасов каких послал Василий Федорович, – посыльный протянул сверток. – А нету самого-то батюшки? Благословиться? – с надеждой заглянул он за дверь.

– Да ведь нет! Поди, еще босиком куда зашел! Он же никому не отказывает.

– Знаем, знаем. Дай Бог ему здоровья. Не простудился бы. Ну, пойду я. – Он еще постоял с минуту, словно чего-то ждал от матушки.

– Иди с Богом, – отпустила она.

Посыльный развернулся и почти побежал – засеменял, не оглядываясь. А Елизавета Константиновна перекрестила его вслед и еще стояла какое-то время, всматриваясь в тревожную сырость улицы.

– Не скажете ничего? – повторила для себя просьбу посыльного Елизавета Константиновна и улыбнулась.

Уж в первые годы жития с отцом Иоанном все сказала и все поняла: с кем живет и куда путь держат.

– Для чего бедных Господь оставил? – спрашивал ее батюшка и сам отвечал: – Чтобы богатые милостью к бедным заслужили себе милость Божию.

Да вот сам богатым никогда и не был.

– Помнишь же, Лизанька, у Матфея: «что вы сделали одному из бедняков – братьев моих меньших, то сделали Мне».

– Помню, – покорно соглашалась матушка, и тут же без труда забывала, куда ушло небольшое жалование да и все пожертвования.

«Интересно, узнает ли свои сапоги?», подумала матушка, посмотрела на них внимательно и увидела на носках разводы-капли.

– Никак плакал кто над сапогами-то? – подивилась Елизавета Константиновна, но тут же спохватилась о другом: – На вечерю-то тоже босиком ушел или одел кто?

* * *

Архип с трудом пришел в себя. Понял, что помимо похмелья, еще и бит. Где? Когда? Ах ты ж! Как говорят матросы «потерпел аварию под Мысом Доброй Надежды». Где уж там добрая надежда?

Как оказался в своей дворницкой – не помнил. Сам пришел или привез кто? С трудом встал и потянулся к ковшу с водой. Пил долго, обливаясь, почти весь ковш выпил. Потом обессилено сел на топчан, пытаясь унять дрожь в руках. Не проходило. И посмотрел вдруг на ноги.

Босые! Босые и черные!

Стало быть – сапоги сняли! Яловые! О! И кушака нет! Ладно, хоть поддевка на месте.

Снова потянулся к ковшу. В дверь постучали.

– Открыто! – прохрипел Архип.

Дверь открылась, и с улицы вместе с первым снегом зашел околоточный. Отряхнул фуражку, осмотрелся.

– Ну, Архип Прохорович, догулялся ты нынче. Наши-то тебя с самого «Мыса» привезли. Без сапог уже.

Архип опустил повинную голову.

– Какой день-то уже?

Дворник пожал плечами: не помнил.

– То-то... В общем, ты у нас вместо опоры порядка стал сам... Как это выразиться... Ну ты понимаешь. Велено тебя менять. Бектимир давно на твое место просится.

– Татарина на мое место?! – взвился мигом Архип, но боль и слабость похмельная в ногах уронили его обратно на топчан.

– Татарина на твое место, – твердо сказал околоточный, – он не пьет. Ему Аллах не велит. А от тебя службы последнее время никакой. И все твои заслуги прежние забылись.

– Так я ж вам смутьяна поймал! Чуть он меня с нагана не пристрелил.

– Помним, помним, Архип. Потому... Три дня тебе. Сразу на улицу не гоним. Найдешь другое место и освобождай помещение.

– А ежели я выправлюсь? – попытался ухватить соломинку дворник.

– Выправишься? – с сомнением переспросил у кого-то околоточный. – Так то долго доказывать надо. Разве что если поручится за тебя кто. Уважаемый человек какой. Есть у тебя такой?

Архип молчал. Очень хотелось опохмелиться, потому как думать больше ни о чем не мог.

– То-то же, – вздохнул околоточный, поднялся и нырнул в снежный вихрь за дверью.

Архип так посмотрел на дверь, будто она была виновата во всех его бедах.

– О-хо-хо-хо... – простонал он.

Снова с трудом поднялся и обшарил комнату. Заначек нигде не было, медь в карманах не звенела, а значит – тяжелое похмелье вот-вот раздавит напрочь.

Ждать не стал. Обмотал ноги какой-то ветошью, что лежала в углу, привязал ее к ногам тесьмой, и как был – вышел на улицу. Над Кронштадтом начиналась зима. Хмурая, как и уходящая осень. Снег хоть и был белым, да падал с такого серого неба, что и не радовал. Да и на мостовой он быстро таял и добавлял грязи.

– О-хо-хо-хо... – оценил состояние природы Архип и побрел из подворотни вдоль улицы.

Спешно думал, у кого можно занять до расчета. Да, получалось, у кого можно было, уже и так занял. С досады ударил себя по груди – попал по медной дворницкой бляхе, что болталась на шее. Поди ж ты – не сняли вчера! А что с нее? Теперь Бектемирке достанется. Будет лысый татарин перед своими щеголять. Куда ж идти-то? И как потом век доживать? Мысль эту он вдруг озвучил, но уже иначе:

– Скоро ведь двадцатый век! – и посмотрел на свои ноги, обмотанные в тряпье.

Вспомнилась вдруг недавняя беседа с неким инженером в трактире. Уж не сын ли того же Морозова? Вроде как на инженера он учился... И рассказывал Архипу, что скоро техника станет такой, что труд дворника будет не нужен. «Будут вашу работу, Архип Прохорович, машины делать». «Как же, машины! Бектемирка, татарин, будет мою работу делать... А я у него буду милостыню просить».

– Архип! – услышал он вдруг за спиной, и сначала не узнал голос.

Оглянулся и увидел, что его догоняет Федор.

– Ох, хорошо, что ты. Думал, помру уже. Есть у тебя, Федя, на что похмелиться?

– Нет.

– Ой, плохо. Плохо мне, Федя. Да еще околочный пришел. Со службы меня, Федор, гонят. Три дня дали... Бектемирку ставят на мое место.

– Совсем гонят?

– Совсем.

– Ты что, не болеешь что ли? – изумился вдруг Архип, глядя на вполне свежее лицо Федора.

А тот вдруг заметил ноги товарища.

– А... с-сапоги твои где?

– Видать, сняли вчера.

– Видать, – согласился Федор.

– А ты-то куда вчера делся? – спросил Архип с подозрением.

– Сапоги исповедывал.

– Сапоги?

– Сапоги. Отцу Иоанну.

– Ой-йо! – вспомнил еще из вчерашнего Архип. – Вот оно мне где вернулось. Святого человека обманул. – Архип опустил голову.

– Так... может... со службы-то не погонят. Повинишься, оставят. Ты же уважаемый человек.

– Да какой уважаемый! – отмахнулся дворник. – Борода вот только и осталась от уважения. Да бляха на груди. Свисток и тот где-то посеял. Теперь два пальца в рот и свистеть, как разбойник какой. – Архип безнадежно махнул рукой куда-то вдоль улицы. – Околоточный сказал, если только за меня какой уважаемый человек поручится. А кто за меня поручится?

– Я знаю – кто, – сказал твердо Федор. – Только надо не пить более.

– Да неужто ты думаешь?.. – Архип сразу догадался. – Я ж... получается... с него сапоги...

– Поручится, – снова повторил Федор. – Пошли быстрее.

– Да куда быстрее? У меня такого тяжелого утра еще не было.

– Вот и пошли.

– Сердце выпрыгнет!

– Не выпрыгнет. Если к нему пойдешь, точно не выпрыгнет. У меня вчера не выпрыгнуло. Думал, умру в толчее, а вышел из храма – как новый.

– Да ну, – засомневался Архип, – как новый... чудеса это всё...

– Не чудеса, – взял его за руку Федор, – а вера и помощь Божия. Так ты идешь? Или у тебя другие поручители есть?

Снег, между тем, пошел хлопьями, и Архип почему-то с тоской

вспомнил про свою верную лопату. Самое время бы...

– Как же я к нему пойду?! – вскричал Архип, показывая Федору на свои ноги, закутанные в тряпье.

– Так же как я вчера, – напомнил Федор. – Только я совсем босым шел...

* * *

Людей вокруг батюшки теснилось великое множество. И он, стоя на крыльце, раздавал кому милостыню, кому благословение, кому что-то успевал шепнуть. Нищие стояли в честную очередь с левой стороны, а справа успевали те, кто под благословение или просто дотронуться до священника, приложиться к руке. Федор тут же встал в очередь, где стояли нищие, Архип же отошел в сторону и прислонился от слабости к стене. Так и стоял чуть в стороне, ни на что не надеясь. Федор еще какое-то время махал ему рукой, мол, иди сюда, но тот безнадежно качал головой, и, в конце концов, Федора затерла толпа. Людей вокруг было много, а Архип вдруг почувствовал такое пронзительное одиночество, такую богооставленность, что к его физическим страданиям добавились еще и душевные. Он уже собирался развернуться и пойти, куда глаза глядят, как вдруг услышал громкое батюшкино:

– Пропустите его. Да, вон его...

И сразу стало тихо. Архип поднял глаза и увидел, что все повернулись и смотрят на него, а между людьми образовался коридор, который открывал ему путь к священнику.

– Подойди, – позвал батюшка.

Позвал не приказом, не грубо, но так, что нельзя было отказать. И Архип подошел. И чем ближе подходил, тем труднее было сдерживать слезы. Захотелось вдруг рассказать, как недавно похоронил жену, как сыновья уехали в Питер на заработки и забыли об отце, как легко и быстро сходишься с голью босяцкой, а потом уже и не помнишь, кем был. О том, что иной раз и пошел бы на службу в храм, да надо двор мести, улицу, снег ведь не спрашивает. А лед не сколешь – попадают люди. Так и живешь без причастия Христова...

– Знаю, знаю, всё знаю, – словно услышал его мысли батюшка и

возложил ему на голову ладонь. – Господь никого не оставляет. Ни единого, кто просит о помощи.

Ладонь батюшки сначала была теплой, а потом стала горячей, и тепло от нее разлилось по всему телу. Сначала из головы упало прямо в сердце и жарко стало в груди, а потом разлилось волной, и даже ногам стало тепло, хотя Архип уже перестал их чувствовать. Дворника бросило в пот. Да так, словно он стоял не в ноябрьской метели, а в парилке. Так, что застило потом и слезами глаза. Но вместе с тем приходило облегчение. Похмелье отступало, а на место ему шла необычайная легкость. Такая, что хотелось дышать и жить. Он стоял и не смел поднять глаза, как вчера стоял перед отцом Иоанном Федор. Но потом все же решился.

И когда встретился взором с глазами отца Иоанна, то просто утонул в них. Чего там было больше: чистого неба? Отеческого укора? Добра разлитанного? Архип вдруг понял, что взгляд этот пастырский не каждому дано увидеть – да не каждый и поймет его. Не всякому дано. Гордый и самолюбивый, закрученный миром сим и не увидит. А он – горький пьяница – сподобился.

– Лиза! – позвал не отводя глаз отец Иоанн. – Подай-ка, матушка, вчерашние сапоги. Да-да... Те самые, – словно на немой вопрос отвечал.

И сапоги сами собой оказались в руках Архипа. Новенькие, юфтевые. И уже начала оттирать толпа Архипа от батюшки, а тот сунул ему в голенище сапога какую-то бумажку. Архип думал – денежку. С тем и отошел в сторону. Следом из толпы винтом выкрутился Федор. Подошел.

– Переоденься, Архип. Замерзнешь совсем.

– Да мне жарко, – признался Архип.

– Что тебе батюшка в сапог-то положил? – любопытствовал Федор.

– Деньги, наверное. – Архип сунул руку в голенище, но это оказался другой сапог, и на дне его он нащупал несколько монеток. А во втором был свернутый вчетверо листок бумаги, на котором рукой то ли батюшки, то ли помощника его было выведено: «за подателя сего ручаюсь, протоиерей Иоанн Сергиев». Подпись и сегодняшняя дата.

– Не, это не вчерашние сапоги, – со знающим видом сообщил Федор.

– Ну так, у нас же размеры с тобой разные, – додумал Архип.

– Ага, а у отца Иоанна со всеми одинаковые!

– Получается так...

Они шли по обновляемой снегом улице, и получалось, что осень все же становилась светлее.

– Я вот вспомнил сѣдни, что Дмитрий Васильевич говорил: мол, скоро дворников машинами заменят.

– Да не заменят! Еще сто лет не заменят. Где машине тебя заметить? Она что, на крышу полезет, снег скидывать? – Федор посмотрел вверх, на припорошенные первым снегом крыши. – Не будет тебя, Архип, кто будет работать?

– Бектемирка, – улыбнулся Архип. – Очень на мое место хотел. – Остановился, подумал. – А вообще, он трудящийся. Я ему в соседнем дворе место подскажу.

– Подскажи...

Они шли по Андреевской улице. Утро вдруг вспороло стылую сталь неба солнечным лучом. Снег прекратился и тут же начал таять. И город-крепость, закованный в гранит, словно стал теплее. Маковка на Морском Андреевском соборе полыхнула привет солнцу и погасла. Где-то далеко на горизонте маячил XX век.

– Не жмут?

– Не, как влитые.

Дворник Архип и разнорабочий Федор не видели, что за этим вековым горизонтом храма на площади уже нет. А за следующим нет уже и памятника Владимиру Ульянову, который стоял на этом месте какое-то время. Они это не видели. Зато, в отличие от нас грешных, они видели отца Иоанна – Всероссийского батюшку из Кронштадта.

Вскачь летел от распахнутых
в город ворот,
У села притормаживал вежливо,
Будто в смутное время,
смущая народ,
Старомодное время удерживал.

СОАВТОРЫ ЛЮБВИ

Декабри да январь
Разных лет соединяя,
Помолчи, не говори,
Что года людей меняют.
Уверь меня в любви,
Повтори, что грешным летом
Меж любимой и поэтом
Были встречи половин.
Пусть под пишущей рукой
Слишком много умолчаний,
Ждущих каждой строкой
Пояснений, примечаний,
Будто трудно в этот раз
Объясняться бестелесно
Или рваться в неизвестность,
Где разлука удалась.
Не бывает слишком поздно
За строкой строку писать
На окна стекле морозном
Или в теплую тетрадь,
Если даже за двоих
Предугадываю чаще
Текст любви самотворящий,
Непонятный для других

* * *

Украли портфель, а в портфеле моем
Стихов предпоследних неизданный том,
В котором и Русь, и напев камыша,
А главное – в строчках живая душа.
Хоть вора суди, хоть весь мир сокруши,
Но как же теперь мне прожить без души?!

* * *

Богатеев власти вопреки,
Не предал ни отчего порога,
Ни великой пушкинской строки,
И хоть нележки мои дороги –
У меня, в отличие от многих,
Есть достойные ученики!

* * *

Состарились. Разболелись.
Хозяйство держать невмочь.
Счастливые дни истлели,
Бессонницей гложет ночь.

А было ли счастье?

Было

Благим, ненасытным, злым,
Когда, не любя, любила...
Так вот и живем былым.

ПАСТОРАЛЬ

Деревенька вдоль речушки.
Петухи вовсю поют.
А коровушки-пеструшки
Травы сочные жуют.
Путь в луга им точно ведом,
Им плевать на свет и тьму,
Что им Путин, что Медведев,
Что Осетия в дыму?
Им плевать на жизнь Державы,
Как на все мои стихи,
Лишь бы степь рожала травы,
Да не пили пастухи!

Владимир ДЕНИСОВ

ГОЛОС

В пылу вселенского разора
Мне голос праведный внушал:
– Спаси хотя бы Русь от мора.
Хотя бы Волгу.
И Урал.

Хотя бы город с храмом древним,
Где юным отроком ходил,
Хотя бы отчую деревню
И горстку дедовских могил...

А не сумеешь – все едино
Умри,
и бог тебе судья,
Но огради хотя бы сына
От сладких снов небытия...

Чтобы сказать:
Я помню лица
Всех тех, с кем счастлив рядом жить,
И тех, кто вдруг остановился
И дал мне спичек –
Прикурить...

Ирина РЯБИЙ

* * *

Хочется быть маленькой,
Чтобы мама хлопотала вокруг тебя:
Немного бранила, но, в основном, радовалась...

Хочется быть маленькой,
Чтобы видеть ее юное лицо,
И платье, напоминающее далекое лето...
Хочется быть маленькой,
Чтобы у мамы впереди были годы,
Счастливые, полные любви и желаний.

* * *

Матушка моя, что тебе не спится?
Что впотьмах сидишь ты, все в окошко глядя?
Там огни сияют на небе и в окнах, –
Во чужих квартирах свет горит веселый,
Свет горит веселый, разговор душевный...
А у нас с тобоюмышь в углу скребется:
Нет отца родного, нет защиты в доме,
И веселья нету.

* * *

Две реки в моей судьбе: Амур и Иртыш –
Вас не переплыть мне никогда,
И я с печалью смотрю на противоположный берег
Иртыша, по волнам которого можно лишь мысленно
скользить,
не касаясь мутной воды,
Воды, которую травят все, кому не лень
И в Амуре и в Иртыше...

Две реки в моей судьбе: Амур и Иртыш –
Они, как две крепкие мужские руки,
Несут и несут по жизни куда-то,
Не спрашивая моего желания,
Куда-то к невидимой цели, ведомой только им...
А я трепыхаюсь, как детстве, попав в мощный поток
посреди Амуре,
захлебываюсь и карабкаюсь на спасительный островок.

Две реки моей судьбы: Амур и Иртыш –
Волны их высоки, течение быстро,
Пути их схожи, имена их созвучны. –
Реки моей судьбы, вы, словно линии на моей ладони, –
Никогда не кончайтесь!

Анатолий БЕЛОЗЕРЦЕВ

* * *

Приятна мне вечерняя усталость,
Томленье мышц и свежесть тонких чувств.
И пусть опять в тебе проснется та же шалость –
Важнейшее из всех твоих искусств.

Огнём горят глаза, как в небе звёзды,
Без них не представляю я тебя.
И пусть навстречу мчатся вёрсты, вёрсты,
Как отблески душевного огня.

ВЕТЕР ВРЕМЕНИ

Не тишину, покой, а ветер времени
Я выбираю в жизни для себя.
И пусть судьба не станет тяжким бременем,
А возгорится сполхом огня.

Конечно, умирать не собираюсь,
Но не дрожу за каждый лишний день.
И если согрешил я, то покаюсь,
Ходить не стану, как чужая тень.

* * *

Служу не быту, не чужим капризам,
Душе и сердцу своему служу.
Мне не нужны заманчивые визы
И отдых на заморском берегу.

В вечернем небе звонко звёзды рыщут,
Я слышу, как волнуется земля.
И пусть душа моя сейчас отыщет
Единственное слово для тебя.

Не моде дань, не спор и не война,
А счастья взлёт, боль разочарований.
Ты – песнь души, тебе любовь цена.
Стихи – плоды твоей посильной дани.

Любимец твой, земли сибирской сын,
Поёт светло югорский жаворонок.
Ты так же пел, и в облаке седин
Остался голос твой силён и звонок.

В гармонии уверенность видна:
Для песни наступает тишина.

* * *

Мужская прямота и женский стыд –
Что в этом поединке победит?
Ловушек сотни нам создал Творец,
Предусмотрев начало и конец,
Хоть нет у созидания конца...
Надеюсь, развлечения Творца
Несут в себе и жизнь, и благодать:
Мужам – излить, а скромницам – рожать.

Владимир КОРОВИН

КУПАНИЕ В НОЧНОМ МОРЕ

1

На жемчуг груди и на бронзу загара
Ночной тишиною, прохладою рос,

Торжественно, словно река Ниагара,
Спадает поток твоих черных волос.

Как всё же прекрасно, что мы с тобой вместе,
Ведь всё нам по силам, когда мы вдвоем.
Давай вознесёмся в пучину созвездий,
А, может быть, в их отраженье нырнем.

Давай насладимся объятьями моря,
Надышимся вдоволь, до боли в груди
Соленым туманом у кромки прибоя
И звёздною пылью на Млечном пути...

2

Полоска прибоя безлюдна,
И воздух субтропиков густ,
И в море ночном абсолютна
Свобода движений и чувств.

Как будто в космической бездне
Ты вновь невесома в волнах,
И отблески южных созвездий
Не гаснут в любимых глазах.

От чувства того, что – желанна,
Захочешь уплыть далеко –
Под сень облаков Магеллана,
И поднятый парус Арго.

Но лучше не спорь ты с волною,
Чуть-чуть заплыви за буи,
И вновь возвращайся к прибою
В объятья мои.

РАЗГОВОР С ТАНКОМ НА КОМСОМОЛЬСКОЙ ПЛОЩАДИ

Тебе, не ржавея, веками стоять
Металлом изысканной пробы.
Ты слушать умеешь, умеешь понять –
Недаром такой крутолобый.

В холодной войне, как в тяжёлом бою,
Нельзя обойтись без отваги...
Тебе не бросали цветы на броню
В восставшей разгневанной Праге.

Нам незачем было кого-то пугать,
Но ты был настолько опасен,
Что многим казалось: вот – Кузькина мать
В одной из своих ипостасей.

И всё ж, промолчав про Афган и Чечню,
Напомнить хочу про Цхинвали,
Где девочки точно такую броню,
Слёз не стыдясь, целовали...

Евгений СТАРКОВ

ДОРОГИЕ МЕСТА

Я приехал к тебе, деревенька моя,
Посмотреть на тебя, на луга, на поля.
Я приехал к тебе, мой родительский дом,
Чтобы душу согреть твоим добрым теплом.
В чужедальних краях свою песню сложил,
Но вдали от тебя я нередко тужил.

И вот снова я здесь, где свой путь начинал,
Только мест дорогих я, увы, не узнал.
От деревни большой только четверть стоит
И на ферму с утра уж никто не спешит.
На покосах бурьян, вырос лес на полях...
Я взираю вокруг со слезами в глазах.

Как всё это понять, милый край, край родной?
Кто поднимет тебя из разрухи такой?

* * *

Вот и все. Подкрался вечер
Жёлтым пламенем осин.
Думал я, что праздник вечен,
А теперь грущу один.

Вспомнив, как порой прекрасной
Не ценили мы деньки,
Раздуваю я напрасно
В сером пепле угольки.

Может, я любил не очень,
Может, разлюбила ты.
Оттого настала осень
И завяли все цветы.

Но придет весна, я верю.
С этой верой легче жить.
И шаги твои за дверью
Стану чутко сторожить.

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ

Нам с тобою на все разговоры осталось
Двадцать лет.
Чтобы всё завершить, как мечталось,
Двадцать лет.
Чтобы сбросить печаль и усталость,
Нам с тобой в этой жизни осталось
Двадцать лет,
Двадцать лет,
Двадцать лет.

Будут птицы на ветках
Петь песни, встречая рассвет,
Будут розы в саду расцветать,
раскрывая бутоны,
И никто не заметит, что нас
с тобой нет,
Что других укрывают
От солнца зеленые кроны.

* * *

Чёрная бабочка с белой бахромой
Ищет дорогу, дорогу домой.
Полетит на север, повернёт на юг...
Здесь вчера цвёл клевер,
Божий стлался дух...
А сегодня клевер весь повял, пожух.
Чёрная бабочка с белой бахромой,
Полетели, бабочка, бабочка, со мной.
Я тебя согрею в доме, на печи,

Будем пити брагу, ести калачи.
До весны дотянем, дальше будем жить,
А помрѣшь – помянем, нечего тужить.
А умру – ты пестуй во печи огонь,
Калачики трескай, брагу же – не тронь!

Бабочка чѣрная с белой бахромой,
Полетели, бабочка, на небо со мной.

* * *

Неужели акация будет цвести,
Когда я вернусь домой?
Неужели любимая скажет: «Прости
За эту разлуку с тобой».
Неужели май, а не злой январь
Спросит о бедной душе...
Неужели ждѣт нас с любимой алтарь,
Где курится ладан уже?!
И я встаю, набираюсь сил,
И я иду напролом.
Я долго по свету один колесил,
Оставив пустым свой дом.
И никто не знает, дойду или нет,
И вряд ли кто меня ждѣт.
И только акации белый цвет
Сводит с ума и... сведѣт.

* * *

Ах, какой я хороший:
Сорок третий размер галоши,
Чѣрные волосы, морщины на лбу...
Я хороший, хороший – не лгу.

А Милость с Добротой –
Вдвойне!

* * *

Сосед меняет двери,
меняет косяки.
Но сам уже не верит,
в запоры и замки –

и пса сторожевого
заводит мой сосед.
И ничего такого,
конечно, в этом нет.

Вот, скажет, принял меры,
но, оказалось, зря!
Когда украли веру...

* * *

От Покрова до Покрова –
два волшебных рукава:

мах одним – белым-бело –
землю снегом замело...

Мах другим – из рукава
изумрудна мурава...

От Покрова до Покрова –
вся в заботах голова:

то страданье, то страда –
вот и голова седа...



Племя младое, незнакомое



Елена КОЛЕСНИЧЕНКО

ДЕВИЧЕСКАЯ ЛИРИЧЕСКАЯ

Меня водила мама в степь,
А я мала –
У тропки рос чертополох,
А я взяла.

Схватила радостно рукой –
Красив на вид...
«Ой, мама, мамочка моя,
Болит, болит!»

А ты, как тот чертополох
Среди степей.
Ты всем глаза очаровал,
А сам ничей.

Кому своих не жалко рук
Тебя обнять,
Кому своих не жалко губ
Тебя кохать.

Кому своих не жалко слёз –
Достанься той...
Ой, мама, мамочка моя,
Ой, больно, ой!

НА СВЯЗИ

Зёрна на подоконник положены.
Чрезвычайное положение!
Всем передать по цепочке!
И тут же прыг-скок с присвистом:

Птички-синички-фифочки –
Стучат каблучками острыми,
При форменных жёлтых хвостиках
Бойкие телеграфистки.

И в тишине
Бесперебойная связь на морозе:
Звонкая азбука Морзе
На мёрзлом окне.

* * *

Лето. Мы с бабушкой на траве –
она делает мне новую подушечку,
а перья летят, летят...
И каждое маленькое полуколечко –
сказка старого гуся,
пухлый детский сон,
что приснится мне зимой.
Может, это будет далекая чудная страна,
где на сказочных домиках белый снег,
на печных трубах белый снег,
на коричневых полях белый снег,
на деревьях тоже белый снег,
и каштаны будто бы зацвели второй раз.
А мягкие, нетающие снежинки летят, летят...
У моих белых ног целый сугроб.
Бабушка, ты уже не увидишь
эту страну –

даже во сне.
Ты старенькая...
А перья летят, летят,
прилипают к рукам, волосам, губам,
красному платицу –
«Я гусь», – кричу я радостно, расставив руки.
Ах, белый пух, белый-белый пух...
Бабушка, отчего ты так печальна?

* * *

Я подсмотрела у реки:
В вечерней дымке
Там молча бродят светляки
И спят травинки,
Там волны, нежностью полны,
Бегут игриво,
На желтых клавишах луны
Играет ива...
На дне, далёком и сыром,
В глубинах тайны,
Струится рыбы серебро,
Как свет случайный.
Из этой сонной пустоты
Не льются звуки,
Притихли темные кусты,
Дробятся струйки,
Летят из чуткой темноты,
Качая землю,
Всё легче волны, и цветы
Так нежно дремлют...
Здесь, в час глубокой тишины,
Неторопливо,
На жёлтых клавишах луны
Играет ива.

* * *

холодным утром свет рассеян
читаешь книжку натошак
а за окошком воет север
и нет спокойствия в вещах
и вот откладываешь книжку
дрожишь лодыжками до ванной
потом согнувшись точно лыжник
скользишь в подъезде деревянном
когда выходишь на работу
ты безобразен и смешон
а где-то вечная суббота
быть может выше этажом

АВГУСТ

Снял яблоки с дерев,
вином устави́л погреб,
рябины разогрев,
их над землей приподнял.

Вершил над лугом суд,
ручей подернул рябью,
аукался в лесу
тонюсенько, по-бабьи.

О красоте земной,
о времени текучем
заговорил со мной
на языке дремучем.

ОРФОГРАФИЯ

Учить, лечить, стоять ли за прилавком –
работа человека суть приставка.

Ты можешь быть мудреным, точно суфий,
и все же мудрость – это только суффикс.

И все твои стремления и чаянья
не тянут больше, чем на окончание.

Чтоб обеспечить правильность прочтения,
исследуй корня точное значение!

Владимир УСТЮГОВ

* * *

Мы ступаем по тихому мху,
Замирая на каждом шагу.
Словно кончик холодной иглы:
Курлы!..

Журавлиный клин,
Огоньки рябин
Да брусничный Спас.
Никого окрест,
Золотистый лес
Отпевает нас.

Мы идём по осенним лугам.
– Где ж деревня?
– Наверное, там,

За пригорком, у старой ветлы.
Курлы!.. Курлы!..

Журавлиный крик,
Лучезарный лик,
Голоса в тиши
В предвечерний час
Словно кличут нас,
Только – ни души.

Всё проходит – и это прошло:
Здесь когда-то стояло село.
Наши детские слёзы светлы.
Курлы!.. Курлы!.. Курлы!..

Журавлиный клир
Отпевает мир
Как в последний раз.
Золотая грусть,
Избяная Русь
Покидает нас.

Максим СЕРГЕЕВ

* * *

Слова любви, слова печали
Так горячи и солонны.
Как предки солнце величали,
И наступление весны,

Так и душа, души не пряча,
Болит. Не может не болеть.

Как хорошо, что небо зряче...
Как хорошо, что небо зряче,
И я могу тебя согреть.

* * *

Теплый дождик, летний дождик в сентябре.
Спит под топодем собака в конуре.
Гроздья листьев пожелтевшие. Во сне
Сад хрустален. Только ангелы одне
За окошком. Проявляются следы
На ковре из разнотравья и воды.
А когда вернется в небо синева,
Сад уснет и распрямляется трава.

Василий АЛЕКСЕЕНКО

ИНЕЙ

Было чёрным по белому –
Стало белым по синему.
Как крошащимся мелом,
Нарисованы инеем
И дома, и деревья,
И скамейки, и крыши.
Бородатые двери
Паром весело дышат.
Мимолётная суть
Драгоценного дерева!
Стоит только качнуть –
И осыплется белое,

А останутся жидкие,
Оголённые ветки.
Чудеса неожиданны,
Ненадёжны и редки.

* * *

Рождается одуванчик
В мясистых ногах травы.
Нежно его оперенье –
Цыплячий комок желтизны.

Он поднимается выше,
Головой качает лохматой,
Белой, сквозной, летучей,
И ветер треплет его.

А вот и старик-одуванчик,
Сухой и в траве не заметный.
Но лучше быть лысым и гордым,
Чем пропасть в мертвечине букета!

* * *

Жёлтого солнца огненный блин
В сметанных горах облаков!
Тополь – зеленохвостый павлин –
День и ночь лопотать готов.
Вот и домов прогрелись бока,
Загар песка золотист,
Перекрывает шум ветерка

Оглушительный птичий свист.
Нового лета первый день!
Каникулы, лень, жара,
Свобода, весёлая дребедень
И счастье уже с утра...

Александра МАЛЫГИНА

* * *

«Пусти!» – кричу, но уходить не смею.
Прошу: «Не тронь!» – и пробую обнять...
Озёрная изменчивая гладь
В глазах твоих всё глубже и синее.

Как можно дальше нужно убежать,
Где никого, где горы только снятся,
Но я боюсь самой себе признаться,
Что хочется не думать и молчать,
И вновь щекой к твоей щеке прижаться.

* * *

Хочу дождей, хочу глубоких луж,
Хочу гулять до самого рассвета,
Смотреть, как листья облетают с веток,
Не помня, муж ты мне или не муж.

Хочу не помнить имени и дня,
Когда пришлось на этот свет явиться,

Забывать себя и заново родиться,
Но в этот раз родиться для тебя.

Не изменить судьбу, как ни старайся,
Но всё же верю, что в иной судьбе –
В большом саду, возможно даже райском,
Мне предстоит привидеться тебе.

Анастасия ЖУКОВА

* * *

Плачу за все:
Болью – за счастье,
Слезами – за смех.
Трудом – за успех.
И если потом
Кто-нибудь скажет:
«Ей так легко»,
Отвечу:
«Оплачено»!

ЛАДОНЬ

На белом поле изгибы плавные,
Пушистый снег в ладони падает.
Ладонь моя вся в линиях.
И каждая расходится на две –
Какое совпадение.
Всегда есть выбор,
Делать который – мне.

* * *

Стол накрыт на одного:
Вилка слева, ножик справа.
Нож и вилка – это пара.
А со мной нет никого.
«За столом болтать негоже!»
Только мне всего дороже
Слышать рядом чей-то ножик
Над тарелкою второй...

ЖАЛЬ

Первый и последний раз
Вижу Вас, родной прохожий.
Вы, наверное, хороший.
Жаль, что я не знаю Вас.
И, конечно, не узнаю
Вас и тысячи других,
И хороших, и плохих
Память превращает в стаю
Быстрых, безымянных птиц.
Мимо птицы пролетают.
Чередой прекрасных лиц...

* * *

В бледно-розовой чашке шиповника
Зреет сладкая капелька мёда.
А в душе моей малая толика –
От шиповника нежное что-то.

От шиповника?.. Нет, едва ли.
Но от голоса, звука, от ноты.
Как хочу я, чтоб Вам шептали
Все цветы очень нежное что-то!

Я на «вы» обращаюсь к другу.
Друг на «ты» обращается к нотам.
Я кладу в вашу правую руку
От души моей нежное что-то...

Елена ЖУРОВА

ОН И ОНА

Он и она не спали до рассвета,
В окно смотрела полная луна.
На улице июль. В разгаре лето...
И им совсем сегодня не до сна.
Ему командировка предстояла
Туда, где не кончается война.
Она его в дорогу провожала –
Хотя и не невеста, не жена.
Потом писала письма, как молитвы,
Не зная, где любимый адресат.
А он не отвечал ей с поля битвы,
как будто очень занят был солдат...
Когда он на бегу остановился,
Сражённый наповал куском свинца,
Под сердцем у неё зашевелился
Ребёнок, что родится без отца.

АМБИЦИЯ

Пять минут назад она сидела в кафе напротив меня. Ромашкова Аня. Мой первый «тренер», некогда близкая подруга и лучшая спортсменка города. Но это в прошлом. Теперь она не имеет никакого отношения к конному спорту. У нее четыре собственных коня, но она уже пятнадцать лет не садилась в седло. Считает, что лошадь не создана для того, чтобы возить человека на своей спине, и что спорт ни к чему хорошему не приводит и ничего за собой не оставляет. Это все из-за Амбиции.

Какая была кобыла. Невероятной красоты и грации вороная ахалтекинка. Амбиция была той лошадью, которую очень сложно понять. Иногда казалось, что нет никакой логики в ее поступках. В ответ на затянутый повод она могла полететь карьером, а в ответ на хлыст – остановиться. Могла и наоборот. Могла спокойно смотреть на проезжающий трактор, а от проходящего мимо человека шарахнуться. Говорят, непредсказуемость и горячий нрав – особенность породы.

Говорят, что ахалтекинцы привязываются к одному человеку. Под Ромашкой это была совершенно другая лошадь. Мне иногда казалось, что Амбиция понимает человеческую речь, не всю, а только то, что говорит ей Аня. «Тише» – значит тише, а другие ее никак остановить не могли и падали. Амбиция разогналась и начинала козлить, да так, что шансы усидеть были просто нулевыми. В таких случаях всегда звали Аню. Сядет кто-то другой, и кобыла сделает то же самое. Мы никогда не видели, чтоб Ромашка лупила ее, натягивала рот до ушей или делала что-то в том духе.

На соревнованиях кобыла словно понимала, какая ответственность на нее возложена. Поговаривали, что раньше у Амбиции была блестящая спортивная карьера: выступала на больших соревнованиях, привозила «мастеров». Теперь же она могла сколько угодно раз выходить на маршрут и прыгать под любым мешком с картошкой. Я всегда старалась работать своих коней так, чтоб те были похожи на Амбицию. Глупая.

Я будто забыла, как на тренировках Амбиция ссаживала, как носилась и прижимала к стенам, как спотыкалась и падала. И будто я не видела лиц многих людей и дьявольского огня азарта в гла-

зах. Человеческих. И будто никогда не слышала громких и жутких воплей «Хлыст!» и «Накажи!». Это то, чего не видят сторонние наблюдатели, то, что остается за кадром. Кто-то говорит, что конный спорт красив и благороден, так посмотрели бы они на наши тренировки. Взмыленная лошадь, а на ней грязные и растрепанные после множества падений девчонки, торчащие из открытого лошадиного рта пожелтевшие зубы и оскаленные человеческие лица. Красиво? Ко всему привыкаешь, мне до сих пор не хватает той атмосферы. В конюховке пахло малиновым вареньем, в коридорах стоял запах аммиака, а «кабинет» Черта постоянно был в табачном дыму. Объяснялись друг с другом все на русском матерном, ходили вечно грязной и рваной одежде. Сейчас в лучших клубах такого не встретишь. Зато хватает людей, которые хотят быть спортсменами.

И наши девочки прекрасно знали, что победы достаются тяжелым ежедневным трудом. Только считали, что лошадиным, а они могли сидеть сверху и ничего не делать, главное – сесть. Были самые настоящие войны за Амбицию, а на войне все средства хороши. Дело доходило до того, что Алине под седло камешек подкладывали. Я никогда не думала, что лошадь может ТАК козлить. Алина улетела аж за забор левады, в которой ездили, а Амбиция продолжила скакать дальше и сбрасывать седло. У лошади после этого осталось только белое пятнышко на спине, а Алина, говорят, до сих пор, перед тем, как садиться на лошадь, проверяет, нет под седлом чего лишнего. Винного со скандалом выгнали с конюшни, и все встало на свои места.

Аня мечтала, чтоб от лошади, наконец, отстали. Видела, что Амбиции с каждым разом все тяжелее прыгать, что с каждым днем исчезает былая легкость движений. И Черт это видел.

Не каждый решится добровольно расстаться с таким сокровищем, с любимой лошастью. Аня как-то сказала Черту, что Амбицию она уже переросла. Ромашка знала, что тот хочет слышать подобные слова. Ане дали другого коня...

Жизнь у Амбиции стала легче, только здоровье начало подводить, посыпались ноги. Работали ее по схеме «неделю прыгаем – месяц лечим». Но никто из девчонок ни разу не взял ее пошагать, ни разу не замыл ноги после тренировки. Они же были спортсменками, считали, что нечего с лошадью возиться. Аня же делала все, что надо, лишь бы Амбиция

не развалилась окончательно. Она не первый год «обитала» на конезаводе и знала, что, пока лошадь работает – она живет, а потом... Амбиция не смогла нести даже легкую нагрузку. Говорят, сам Черт просил оставить ее на дожитие. Но, как это обычно бывает, лошадь списали.

Этот день был для Ани последним на родной конюшне. В те времена кони уходили чуть ли не по алфавиту. Не стало Амбиции, Лавра, Бойкой, Байкала, Феникса. Грома продали цыганам, Подарка с Зимой Динке... Уж не известно, что лучше.

Мы сидели на диванчике в конюховке, безвольно повалившись друг на друга. Сквозь слезы Аня выдавила: «Амбиция никогда не была клячей», резко вскочила, схватила пакет с вещами и ушла. Только сапоги забыла.

Спортсмены разбежались, кто-то из них раз в неделю заглядывает в прокат, кто-то хвастается, что в детстве занимался конным спортом, ис-тлели и потускнели цветные ленточки наградных розеток, в полуразвалившемся здании конюшни по прежнему в углу стоят грязные и покрытые пылью сапоги, которые никто так и не убрал. Лишь лошадей наших уже никто не вернет, потому что ничего не осталось.

ЗИМА

Зима не была белой и пушистой. Она была серой, той степени серости, когда даже человек, не имевший дела с лошадьми, не смог бы назвать её белой.

Красотой она похвастаться не могла. Лошадь как лошадь – четыре ноги, голова, хвост. Не было в её внешности ничего особенного. Обычная деревенская трудяга. Мохнатая, на толстых и непропорционально коротких ножках, с круглыми боками. Отметин никаких не было, лишь белые пятна на холке – когда-то сбили седлом. Только глаза... Я боялась смотреть в эти глаза. Такое безразличие в лошадином взгляде. И мне было стыдно так, словно это я сделала её такой. Даже страшно представить её прошлое. Хотя какое прошлое? Деревня. А там все туманно и далеко не радужно...

Спроси любого человека из детской группы, какая у него любимая лошадь, и он ответит, что Зима. И каждый не раз бил её прутиком по крупу, потому что лошадь не бегаёт. Нас так учили. Не разбирайся, за-

ставь и всё. Она никогда не сопротивлялась, наверное, кто-то когда-то ей вдолбил, что спорить с человеком бесполезно и опасно. Никто не видел, чтобы Зима свечила или козлила. И даже не носилась. Никогда. Вообще!

В смене на неё всегда была очередь. На ней было удобно ездить, она делала всё, что ей прикажешь, так, что каждому новичку казалось, будто он уже всё умеет.

Меня Зима как-то не интересовала, неживой какой-то казалась. Не могла я душу на удобство променять.

Двигалась она всегда медленно, без всякого желания вяло переставляла коротенькие ножки:

«Бегу я, бегу. Только палочкой меня не бей!»

А дети не замечали, продолжали любить её. Постоянно толпились в деннике, гладили нос, угощали подсушенным хлебом. Зима всегда с удовольствием брала лакомство, до самих же детишек ей не было никакого дела. Зима их и не различала. Их было так много. Сколько же человек вот так вот гладили её, сколько человек она возила на своей спине, сколько человек били себя пяткой в грудь и кричали на весь мир, что любят ее... И каждый считал, что Зима любит именно его.

Но профессия такая у «первой лошади»... Дети должны были развиваться, Зима была лошадьёю не для спорта. Куда уж ей. Дети начинали ездить на других конях, для них расставание с Зимой было маленькой трагедией, маленьким концом света. Потом же про нее забывали и переставали заходить, чтобы просто носик погладить. А Зима и не задумывалась о том, что уже другие ладошки протягивают ей лакомства. Тихо плыла по течению, сама никого не трогала и старалась не наживать себе проблем. Зима подстраивалась под обстоятельства, в этом была вся мудрость побитой жизнью клячи.

А вот дочь её была совсем на неё не похожа. Зажигалка была шустрой и заводной, но при этом трогательно робкой. Она нам настолько своей зажигательностью надоела, что мы уже не знали, как от неё спастись. Подлетит неожиданно, пнёт и опять ускачет. И ничего ты с ней поделать не можешь. В один из хмурых осенних дней пришла я на конюшню, а Зажигалки нет. Сказали, что продали в деревню. Я не могла себе представить, как же она будет жить без мамы, такая маленькая в какой-то далекой деревне, в табуне с чужими и непременно злыми лошадьми. А ещё я помню до сих пор, словно это было вчера, как, крича, металась по ден-

нику Зима. Вы видели, как плачут лошади? Я видела и не могла спокойно выносить этого. Зима смотрела на каждого проходящего с надеждой и понимала, что все равно ничем не помогут, а потом отворачивалась к стенке, а из глаз ее текли лошадиные слезы.

Она терпела любые обиды. Я помню только один случай, когда Зима показала характер. Правда была у нее одна неприятная особенность. Дело в том, что Зима ненавидела пьяных.

Наш конюх Саньч частенько бывал на работе не очень трезвым или с похмелья. Все к этому привыкли, тем более здесь. В очередной раз подгуляв, Саньч запряг Зиму в телегу. Что-то ему привезти надо было.

Сидели мы спокойненько в конюховке, тут слышим – грохот в конюшне. Как будто стадо быков несется. А там Зима затаскивает телегу в проход через маленькую дверь. Мы думали, это возможно сделать только через главные ворота. Ага! С треском телега протиснулась в узкий проход, а Зима полетела по коридору, бешено выпучив глаза. Саньча на телеге не было. Никогда не забуду, как бесстрашно и безумно выскочив на середину прохода и расставив руки, Ромашка кричит: «А ну стоять!» Время течёт медленно, так, что, казалось бы, успеваешь заметить каждую деталь. Два темпа галопа, и Зима проносится в том месте, где секунду назад стояла Аня, которая каким-то чудом успела прижаться к стене, избежав столкновения с телегой. Копыта в бешеном темпе стучат по бетонному полу конюшни и спустя несколько мгновений затихают – Зима выскакивает на улицу через главные ворота.

Потом, правда, сама успокоилась и вернулась. Но уже без телеги...

Как я уже говорила, Зиму любили многие. Но только один человек смог любить её всю жизнь. Динка всегда с опаской глядела на других лошадей. Она постоянно ждала какой-то гадости, подвоха. Она панически боялась прыгать, но, переступая через себя, прыгала и сто двадцать, и выше. Просто потому, что так надо, альтернативы ни у кого не было.

Динка любила Зиму, она жалела её и самое главное – понимала, что не нужны Зиме её ласки. Но забота её всегда была искренней – выпустить в леваду, отбить денник, нарвать свежей травы. И угощения Динка всегда высыпала в кормушку, а не давала с руки, как это делали все, чтобы пообщаться с лошастью, получить хоть чуточку её внимания.

Выкупить любимую лошадь с мяса – благородный поступок? В той ситуации это было безрассудством – купить Подарка и Зиму, накопив деньги только на покупку.

Она обещала увезти их к себе в деревню. На самом деле – сарай в пригороде. Пусть так, но уже не на мясо.

И пусть сарай сырой и маленький. Пусть до площади неблизкий путь по ухабистым разбитым дорогам. Пусть денег едва хватает на корма...

Одну лошадь пришлось продать. Естественно, это был Подарок. Почему Динка купила его, не смотря на сложный характер? Конь здоровый, молодой, пусть и без документов. В то время списывали таких калек, что и в город с ними выйти было нельзя. А Динка-то понимала, что иной дороги, кроме как на городскую площадь, нет.

И что было делать? Лошадь надо кормить, а чтобы кормить, нужны деньги, а чтобы были деньги – надо идти работать в город, а чтобы идти в город, лошадь надо накормить. И так по замкнутому кругу. Полуденная жара, толпа людей, шум, смех. Ребенка на спину, деньги в карман и в поводу по кругу. Вечер, тусклый свет фонарей. Пьяный мужик лезет в седло, денег ему не жалко. И лошадь не жалко. Я увидела это и подумала, что всё, конец мужику, Динка точно с ума сошла, но нет... Где-то вдалеке уже стучат по асфальту некованные копыта. Спокойно, честно. Неужели, жизнь вышибла из неё последнюю искру?

Усталая лошадь под цветной попоной, израненная душа за яркими бантами уныло плетется вдоль дороги в свой холодный и темный сарай, чтобы завтра снова катать. И с каждым днём эта пародия на лошадь всё больше и больше напоминает велосипед.

- Дин, ты Зиму ковать не собираешься? Если что, Коля помог бы.
- Да какое ковать. Тут жрать нечего. Совсем нечего.
- Ты б её лучше продала...
- Какое продать, я без неё не могу. Я и сама уже не рада.

Это ли называют любовью? Кто бы понял. Не знаю, с Динкой мы после этого и не общались. Не было желания, не находилось слов. Мне иногда казалось, что если бы Зима тогда ушла, всё бы было сейчас лучше. Этого я сказать и не могла, это бессмысленно и больно. Она делала все, чтобы хоть как-то улучшить положение. Только получалось плохо. Вскоре в сарайчике стали появляться другие лошади, на его месте выросло некое подобие конюшни из досок и картона. Появились неряшливого вида девочки, в карманах у Динки завелись деньги. А я в каждой побитой жизнью асфальтовой лошади до сих пор узнаю Зиму, хоть её и нет давно.



Даль свободного романа



Арсен ТИТОВ

ГЛАВЫ ИЗ КНИГИ ВТОРОЙ РОМАНА «ОДИНОКОЕ МОЕ СЧАСТЬЕ»

Глава 20

Пока мы рвались в городскую комендатуру к подполковнику Ричарду, удушье от догадки о новом и чужом слове «отречение» едва не сбрасывало меня с седла.

А стоило мне прочесть это слово, да еще в сочетании с другим, решительно оскорбляющим меня словом «последовало», как удушье прошло, или, сказать, последовало отречение от удушья. Я прочитал телеграмму и неопределенно пожал плечами, как пожал бы, случись мне получить телеграмму, например, от Валерии с ее очередным признанием. Я ничего не испытал от прочтения слова, которое только что меня душило. Я даже в некой скуке прошелся языком по зубам в поисках возможно застрявшего среди них рисового зернышка. В добавок к этому, со стороны, глумливому моему поведению, мне на память пришел эпизод моего объявления отцу и матушке о решении пойти в военную службу. Эпизод был не к месту и был обыкновенно для данного случая никудышным. Я просто сказал, что выбрал военную службу. Я не знаю, как отец и матушка отнеслись к такому же решению Саши. Я в то время обычно сидел на кухне под столом и с младенческим сосредоточением перебирал кастрюли. А на мое решение матушка заплакала и, конечно, стала отговаривать. Доводом ее было то, что я был младшеньким, и они с отцом рассчи-

тывали старость свою провести со мной. Конечно, этот довод меня ничуть не тронул. Я грезил военной службой, военной карьерой и гибелью на поле брани во славу государя-императора и империи. И в очередной раз отговоров меня от своего решения она вдруг сказала:

– Да ведь, Боренька! Да ведь ты даже не сможешь стать офицером! Ведь в казармах все скверно. Ты там умрешь от какой-нибудь заразы. Вон, как умерли туркестанцы у нас здесь, в Екатеринбурге, в восемьдесят втором году!

И этот довод меня не тронул, хотя слова о пребывании в нашем городе и последующей смерти каких-то туркестанцев меня задели. Я выспросил у отца, и из его рассказа узнал, что туркестанцы были никакие не туркестанцы, а были новобранцы Пермской и Вятской губерний, предназначенные к службе в Туркестане, только что присоединенном к империи, и расквартированные на зиму в Екатеринбурге. Им были отведены здания бывшего Монетного двора и механической фабрики. Здания были в ведении Горного ведомства. Между ним, городской управой и уездным военным начальником вышло препирательство или что-то в этом роде. В результате, все было обустроено для новобранцев так скверно, что не заставили себя ждать различные болезни, до тифа включительно, взбудоражившие город. А когда несколько новобранцев от этого тифа умерли, то город, разумеется, впал в панику.

Может быть, этим воспоминанием я захотел спрятаться за отца и матушку, как было в детстве, когда мир мне был прекрасным и совершенно безопасным именно по присутствию в нем родителей. Я признаюсь, родители в детстве мне были больше Бога. Да, наверно, так было каждому в детстве. И я было почувствовал, что захотел спрятаться за отца и матушку. Но следующий толчок сердца подсказал иное. Он подсказал, что я поступил единственно верно, пойдя в военную службу, и тем определил военную службу залогом своей безопасности. Здесь у меня справа и слева, рядом и вокруг умирали сотни людей, моих товарищей. В любое время мог умереть я сам. Но здесь у меня справа и слева, рядом и кругом были сотни таких же, как я, людей, моих товарищей. Такого не было бы вне военной службы. Вне военной службы я был бы одинок. Ни справа, ни слева, ни

рядом, ни кругом у меня не было бы никого, кроме, разве какого-нибудь закадычного друга – закадычного, но все равно спивающегося от такого же одиночества.

Я снова прочитал телеграмму, прочитал, вычлняя знаки препинания из произношения. Ничего нового мне это не дало. Оскорбительное сочетание «последовало отречение» оставалось таким же оскорбительным. Только теперь оно не душило. Я поднял глаза на Владимира Егоровича, перевел взгляд на моих товарищей, ждущих от меня известия и, возможно, обманутых моим поведением. Я протянул телеграмму есаулу Кусакину. От него она пошла по субординации, простите, – к подьесаулу Храпову, а потом – к сотнику Томлину. Пока они читали и передавали телеграмму друг другу, я не смотрел на них. Я только слышал, как поскрипывали седла и переступали кони в момент передачи телеграммы.

Я смотрел на британцев, туда и сюда проходящих мимо нас. Мне стало казаться, что все они знали и все смотрели на нас с сочувствием, в котором я не мог не прочесть вопроса: «Ну, и у кого теперь Кут-Эль-Амара?»

И мы убрались из британской комендатуры восвояси. За всю дорогу я только спросил Владимира Егоровича, не было ли из корпуса каких-либо приказов. Он ответил, что не было, но явно вот-вот последуют. Все вокруг было пусто, как в химической колбе с откачанным воздухом.

– Я читать телеграмму в батарее не буду! – сказал я Владимиру Егоровичу.

– Нет уж. Давайте враз, на вечернем построении и зачитаем! – возразил он.

Читал в батарее телеграмму есаул Кусакин. Батареею пригнуло. Я ночью вышел проверить посты и слышал, мало кто спал. Люди молча ворочались, нашептывали молитву, вздыхали. Более ничего по батарее не несло. Я вернулся в палатку, разделся и лег. Мне захотелось что-то вспомнить из детства, как получилось днем, что-то вспомнить из службы, вспомнить Раджаба, Павла Георгиевича, бутаконцев, Леву Пустотина, брата Сашу, Ксеничку Ивановну, Машу Чехову – да кого угодно, лишь бы вспомнить. А вспоминать не выхо-

дило. Всплывали в памяти только их имена и лица. Всплыв, они тотчас исчезали. Никак они не могли удержаться в пустой химической колбе. Я захотел подумать о будущем – хотя бы о ближайших днях, захотел представить, что теперь с нами будет. И тоже у меня ничего не вышло. Не вспоминалось мне и не думалось.

В какое-то время, в которое я, видимо, стал задремывать, мне стали приплывать картинки серого берега, серых волн, разноцветья окровавленных азиатских одежд в волнах – картинки расстрела Наполеоном пяти тысяч египетских мамлюков. Обрывками в эти картинки стали вплетаться слова сотника Томлина об Азии, сказанные, когда он шел рядом с санитарной фурой, в которой лежал я. Он говорил о каких-то трех сыновьях какого-то хана Якуббека, чьи имена были совершенно разные в произношении, но имели одно и то же значение. Все они значили в переводе Раб Божий. Эти картинки кое-как выстроили мне короткую мысль о государе-императоре о том, что и он тоже Раб Божий. С этим выстроением – а может быть, и само по себе, может быть, от измученности – в химическую колбу потянуло воздухом. Я зашептал «Отче наш». Из глаз в уши мне потекли горячие слезы.

– Нет! Ложь! Все ложь! – стал я шептать слова генерала Скобелева, вспомнив, что шептал их все в той же санитарной фуру. – Все ложь! Нет ни семьи, ни дома, ни какого-то пристанища! Все только бивак, бивак! И теперь нет государя-императора? Нет! Все ложь! Есть империя! Есть государь-император! Есть армия! Есть я сам!

И я снова шептал молитву за молитвой, которые приходили на ум, без всякого их строя, то есть какого-либо порядка. И когда пришел девяностый псалом, любимый Александром Васильевичем Суворовым, выученный мной во второе мое пребывание в Горийском госпитале и теперь обрывками вспоминаемый, этот псалом не показался мне светлым. Он показался мне мрачным, хотя ничего не просящим, но мрачным.

Утром химическая колба без воздуха вернулась. Утром же ординарец лейтенанта Дэвида принес записку от Элспет, переведенную на русский язык самим лейтенантом Дэвидом. Элспет соболезновала нам и от имени Энн приглашала меня быть у них с Энн на неболь-

шом пикнике по случаю дня рождения Энн. Разумеется, я сразу заподозрил барышень в невинном, однако же, обмане. Это заставило меня улыбнуться. И более, конечно, я улыбнулся от радости увидеть Элспет. Я не мог сказать, что я влюбился. Мне просто было хорошо от ее чувства. Во мне от ее чувства поселилась какая-то радостная спесь. Я как бы стал выше себя, как бы стал чище себя и значимее себя. Я сказал, что я непременно буду.

Ординарец отбыл. Я выслушал доклад есаула Кусакина о делах в батарее. Он доложил и смолк – смолк, наверно, в ожидании, что я начну разговор об отречении. Я молча же отпустил его. Подошел после него к палатке и постучал, вернее, похлопал по пологу, закрывающему вход, сотник Томлин. Стенки палатки были подняты. Я видел его. И он видел меня. Но он все-таки похлопал по пологу, изобразил, так сказать, стук, потом нагнулся и вошел в палатку через поднятую стенку.

– Здравие желаю, ваше высокоблагородие! – серьезно сказал он.

– Что так торжественно? – спросил я.

– А напоследок. Небось, скоро будем мы какие-нибудь граждане офицеры, или, того тошнее, и офицерами-то не будем! – сказал он.

Я смолчал.

– Когда домой, ничего не слышно? – спросил он.

– Домой – в корпус? – спросил я.

– Пока – в корпус. А там какое-нибудь замирение объявят эти, как в телеграмме, забыл, простите, ваше высокоблагородие! – сказал он.

– Временное правительство, – подсказал я.

– А, да! Временное! Я ночь-то не спал, прикидывал, что будет. Ничего хорошего не будет. Нам, по крайней мере, не будет, – сказал он.

Я снова промолчал.

– Ладно, ваше высокоблагородие. Разрешите идти? Не убивайтесь. Казаки в батарее все против этого временного, – сказал он и при последнем слове презрительно выгнул губы. – Временного! – повторил он и плюнул. – А ведь смута будет, ваше высокоблагородие! Ведь заставят этому временному, – он опять в презрении выгнул губы и изобразил голосом козье бляенье, – этому временному присягать!

– Знаю, – сказал я.

– А казаки откажутся! А армия откажется! А мужики сдуру присягнут! Это чья-то интрига! – сказал он, пождал моего ответа, не дождался и ушел.

За весь день я только того и сделал, что съездил к Владимиру Егоровичу, выпил у него чаю и, вернувшись, опять залег в палатке. Двенадцать лет назад я вопреки себе вышел с классом радоваться так называемым свободам, якобы дарованным народу государем-императором, а на самом деле, вытребованным у него врагами империи. Я тогда не выйти не мог, потому что считал товарищество частью служения государю-императору. Сейчас я начал в себе понимать, что присягнуть этому временному правительству я не смогу, если даже присягнет весь корпус во главе с Николаем Николаевичем Баратовым, то есть присягнут все мои товарищи. Последствий этого представить было просто. Я превращался в частного гражданского человека, в шпака, имеющего перед военным – по моему юношескому представлению, собственно, не очень-то изменившемся – только одно преимущество, преимущество каждый вечер ложиться спать в одну и ту же постель и с женой. Я не принадлежал к кавалерии и тем более не принадлежал к гвардии, среди которых презрение к гражданским лицам доходило до абсурда. Пехота и мы, артиллерия, к гражданским лицам были более терпимы. Но лично я не мог себя видеть частным гражданским лицом. И не в том было дело, что я вынужден был бы исподние брюки по-граждански именовать кальсонами, вместо получения удовольствия денщиком по-граждански «нанимать прислугу», и вместо соблюдения правил для содержания себя в чистоте и порядке по-граждански «мыться, причесываться или ходить в баню», а вместо нарушения общественного в публичном месте благочиния по-граждански «пьянствовать и безобразить» – такова была разница в военном и гражданском языках. Не в этом ерническом сравнении было дело. Его я прошу простить. И пустил я его только по той причине, что без него мое объяснение, почему я не мог стать частным гражданским лицом, гляделось бы напыщенным. Я просто не видел себя никем и не мог быть никем, кроме человека в военной службе.

Я весь день переживал свой уход из военной службы. Я рисовал

картины беспросветного моего прозябания в комнатке нашего истопника и дворника Ивана Филипповича. Потом я рисовал мое бытие на Бельской даче то в одиночку, то с кем-то из женщин – хоть с той же Валерией, с восторгом пошедшей бы за меня замуж, а потом меня за мое прозябание проклявшей. В эти минуты я не помнил, что она была богата, что она была приближена к графине Бобринской, что вступление в брак с нею прозябания не предполагал.

– Да черт вас возьми! – вскричал я в какое-то из таких воображений и адресовал слова государю-императору. – Черт вас возьми! Что за причина! Ведь триста лет! Ведь правила триста лет – и в один миг! Мы здесь, мы грязные, как вши, солдатики, мы серая скотинка, без жалоб, без просьб, без отпусков служим, кладем свои жизни! А ты там!.. – и что «там», я не знал, но отчего-то был уверен в абсолютной невозможности отречения от престола, даже если «там» было престол удержать невозможно.

Потом мне рисовались фантастические картинки нашего – моего личного – вмешательства в дела государя-императора, наш поход на Петроград, и возвращение престола.

– Прийти и всю эту сволочь вместе с советом министров вымести! – представлял я, и вспоминал из истории, как в то же смутное время, завершившееся воцарением нынешней династии, обошлись с Ажедмитрием первым, с Гришкой Отрепьевым. Семнадцатого мая тысяча шестьсот шестого года много терпевший народ просто-напросто ворвался в Кремль и растерзал самозванца, заодно растерзал и его любимца, сподвижника и клятвопреступника Басманова. – Вот и этих клятвопреступников – так же! Вместо того, чтобы остановить государя от губельного шага, они тотчас в злобной радости пустились рассылать по войскам телеграммы! Судить всю эту сволочь и вздернуть на толстом осиновом суку! – говорил я.

Такие мои картинки не были годны даже для воображаемого мной альбома князя Гагарина. Они были решительно несбыточны. Но они как бы подталкивали на подобный поход тех, кто был рядом с Петроградом, подталкивали, если изъясняться образами смутного времени, на деяния Минина и Пожарского. Я рисовал себе возмущение командиров и начальников тех воинских частей, которые были

рядом с Петроградом, их решительное выдвижение в Петроград, арест этой клятвопреступной сволочи, восстановление законного престола и с ним восстановление порядка. Вместе с картинками в какой-то час мне замелькало число семнадцать. Семнадцатого мая шестьсот шестого года – свержение Ажедмитрия, то есть Гришки Отрепьева. Семнадцатого декабря прошлого года – убийство Гришки Распутина, по слухам, сказавшего, что его кончина станет концом империи. Семнадцатый – нынешний год. Мистиком, как это распространилось в последние годы в частной гражданской среде, я не был. Я любил числа только такие, которые мне позволяли опередить противника в стрельбе. Потому всю зрящность трех чисел «семнадцать» я видел. Но как-то странно приятно было эти три числа «семнадцать» между собой связывать. Это было декадентством. Я декадентства не переносил. Но числа пульсировали отречением и были началом моего конца. Они меня выбивали из военной службы. Они лишали меня товарищества. Они обрекали меня на частное гражданское существование. И они странно заполняли пустоту.

В назначенный час приехал лейтенант Дэвид.

– Лейтенант, скажите прямо, я вам мешаю? – спросил я.

Он, стремительно краснея, отвернулся, некоторое время не отвечал, потом, глядя только перед собой, на чутко прядавшие уши своего коня, сказал не совсем складно:

– Мисс Элспет не разделяет моего чувства. Я же не позволю себе добиваться ее по каким-то другим обстоятельствам, кроме ее ответного чувства.

– Мы скоро уедем, – сказал я.

– Нет. Вы бы видели ее в эти дни! Я вас прошу, поберегите ее. Если вы ее любите, я вам помогу во всем. Если нет... – он замолчал.

– Вы знаете, что случилось у нас. И неизвестно, что будет впереди! – сказал я.

– Это не может быть препятствием! – сказал он.

Мне показалось, что мои слова он принял за нечто оскорбительное для Элспет.

– Лейтенант, – сказал я. – Лейтенант, я не смогу изменить государю и присягнуть какому-то временному правительству. А что это – вы хорошо понимаете!

– Это не препятствие! – воскликнул он. – Это не препятствие, Борис! Если вы ее любите, это не препятствие!

– Но я... – хотел я сказать о последующей моей частной гражданской судьбе без товарищей и средств.

– Не пре-пят-ствие! – снова воскликнул он.

– Да как же! Я буду частным лицом без службы, без средств и без дома! – тоже воскликнул я.

– Все это решить можно очень просто! Если вы действительно любите мисс Элспет, это решить очень просто! Вы не останетесь один! – сказал он.

Я вдруг увидел – разговор об Элспет, само произношение ее имени ему необходимы. Я увидел – он не мог о ней не говорить. Он любил ее. Радостная спесь моя от того, что Элспет любит не его, а меня, хлестнула во мне через край. Я не мог не быть великодушным.

– Вы ее любите. Я сегодня же с мисс Элспет объяснюсь. Я ей внушу, что ее любите именно вы, а не я! – сказал я.

Рослая английская лошадь лейтенанта Дэвида вдруг ткнулась мордой Локаю в ухо и тихо всхрапнула. Локай в недоумении – иного и сказать нельзя! – Локай в недоумении мотнул головой. Лейтенант Дэвид дал лошади поводом немного в сторону. Я улыбнулся.

– Вы сделаете больно мисс Элспет! – сказал лейтенант Дэвид.

– Но как же вы? – спросил я.

– Не заставляйте меня говорить, что у меня нет никаких шансов и от этих слов мучаться! – снова стремительно покраснел он. – И потом, – он призапнулся. – И потом, идет война. Один Господь знает, что будет со мной завтра!

– Так ведь война и для меня! Да еще это!.. – сказал я, имея за обрывом слов слово «отречение».

– Борис! Вам должно быть стыдно оскорблять чувство такой девушки, как Элспет, своими... как это... своими Wortwechsel! – потерял терпение лейтенант Дэвид.

– Пререканиями, – подсказал я.

– Да, – кивнул он.

– Но, Дэвид! – хотел я сказать о довольно необычной ситуации между нами.

– Борис, Sie haben ein Gemut wie ein Fleischerhund! Вы бессердечны, Борис! – оборвал он.

– Пожалуй! – буркнул я себе под нос.

Спесь моя, однако, с меня ссыпалась, едва я увидел Элспет.

По другую сторону городишки, куда мы приехали, был сад – кажется, гранатовый. Он запорошен был мелкими сероватыми и розоватыми цветами и был, наверно, из-за войны брошен. Густая трава вздымалась к нижним ветвям деревьев. Возле сада расположилась британская служба Красного Креста. Здесь, на временно оборудованном плацу с флагштоком, были расставлены столы. Среди сестер Красного Креста толпой стояли с десятков офицеров. Поодаль в походной кухне готовил на стол знакомый сипай-повар. Я поздравил Энн. И мы с лейтенантом Дэвидом встали от всех поодаль, оба захваченные единым чувством к Элспет. На нее, пребывающую около Энн, я глядеть не смел. Да, кажется, и она на меня не взглядывала. Я набылся. За стол мы сели порознь. Ее с Энн окружили несколько офицеров. А мы с лейтенантом Дэвидом нашли место в отдалении. Энн было запротестовала. Но я резко возразил, конечно же, обидев ее. Наша позиция оказалась хорошей. Я осмелел и стал ревниво смотреть на Элспет. Ей при соседях-офицерах справа и слева смотреть в нашу сторону было сложнее, если вообще не невозможно. Я озлился, вперился в ее соседей и вдруг признал вчерашних своих крестников. Я едва не подскочил. Лейтенант Дэвид, разумеется, о моем открытии не догадался. Он только со вниманием посмотрел на меня. Я показал, что ничего не случилось. Он поверил. Ему было тяжело. Я подумал, что я на его месте быть бы не смог. Мне захотелось сказать, что до встречи с ним я не любил британцев. И хорошо, что я этого не сказал – мое признание могло бы быть принято в ином смысле. Оно могло бы быть принято так, например, будто я их стал любить, потому что лейтенант Дэвид познакомил меня с Элспет. Да, собственно, сказав, что я их стал любить, я бы солгал. Я совсем не стал их любить. Вчерашний окурочник к нам на стол прямо говорил, что не за что было их любить. Чтобы не объясняться, я смолчал.

Не знаю уж почему, но и этот стол, как и стол у лейтенанта Дэвида, получился холодноватым – не в пример нашим, если и не бурным, то бурным. Впрочем, мне не было дела до стола. На взгляд со стороны, мы с лейтенантом Дэвидом сами были переполнены холодом и скукой. Мы молча поднимали наши стаканы с виски, молча

закусывали и молча, стараясь приветливо, улыбались всем, кто на нас взглядывал.

А случилось все в единый и тягучий миг.

Я видел – Элспет улыбнулась своим соседям. Я на это бухнул сердцем. Элспет отложила салфетку. Оба соседа встали. Встала и она. Я снова бухнул сердцем. Что было с лейтенантом Дэвидом, я не видел. Элспет встала, в порыве вышла из-за стола. «Оскорбили!» – бухнул я в третий раз. Элспет в порыве вышла, еще раз улыбнулась своим соседям, растерянно оглянулась на Энн и в порыве пошла к нам. «К нам?» – не поверил я, и в четвертый раз бухнул сердцем. Как в бою, я поднялся над городишком, вместил в себя округу. Получилось, Элспет шла к нам и шла – коли я был над всем – шла мимо. В какой-то степени я был этому рад. «Вот как я спасся!» – сказал я себе, а от кого и почему спасся, я сказать не мог. Я только понял, что, поднявшись над городишком и тем заставив Элспет идти мимо, я спас себя. И от того, что я спас себя, мне стало плохо. Вот так двойко было мне.

– Плиз! – протянула мне руку Элспет.

Я не понял, что должен был обозначить ее жест. Я поднялся ей навстречу. Наверно, по столу прошел ропот. Но мне показалось, что прошумели деревья в саду. Да, собственно, было все равно – стол, деревья. Я поднялся навстречу. Я даже подивился, как ловко Элспет сбила меня с моей высоты. Она взяла меня под руку, и мы пошли. Мы пошли в сад. Трава здесь вздымалась к нижним веткам деревьев. Я увидел коноплю и крапиву. Я почуял их запах и опять удивился – удивился тому, как же может быть так, что деревья еще в цвету, а трава уже высока. Мы вошли в траву. Мы ушли далеко в сад. Я оглянулся. Сад за нами замкнулся. Никого и ничего не было видно. Элспет остановилась. Я все отчетливо видел. Я не буду об этом говорить. Об этом все равно не сказать так, как было.

Объяснялись мы карандашом и бумагой из моей планшетки. Она трижды написала по-английски слово «люблю». Мы сидели на моей черкеске. Португепя с кинжалом и шашкой лежала рядом с планшеткой. Ремни португепи с ремнями планшетки перепутались и повисли на траве. Трава, конопля и крапива, высоко вздымалась над нами. Элспет подала мне листок с трижды написанным словом. Я ткнул

себя в грудь, отдал листок ей и сказал ее слово по-русски. Только после этого я испугался – не соврал ли. Быстро принятое в бою плохое решение лучше потери времени в поисках решения хорошего. Оно, быстро принятое, идет от сердца. Я не соврал. Я сказал Элспет «люблю». И мы не стали знать, что делать. Мы загнали себя в угол. Мы уперлись лбами в стену, в скалу, в Бехистун. Мы захлопнули дверь. Никуда более дороги нам не было. Мы слились воедино. По одиночке нам дорога была везде. Слитым воедино, нам никакой дороги не предстояло.

Мы были, наверно, с час. Поднялись мы полные друг другом и пустые друг другом. Я поднял черкеску. Элспет снова взяла карандаш. Прежний листок был весь нами исписан и изрисован. Она его отложила себе. Я взял из планшетки другой. Она написала свой адрес – и Красного Креста, и домашний, в Шотландии в городе Келсо, о котором я даже не догадывался. Город сразу стал мне близким. Она попросила адрес мой. Я дал адрес корпуса и адрес сестры Маши в Екатеринбурге. В этом обмене адресами было какое-то бессилие, какая-то ложь, самонадеянное непризнание того, что на самом деле свершилось и что нам предстояло, то есть непризнание нашего расставания. Этим обменом мы взялись обмануть самих себя и обмануть судьбу. Кроме прошедшего мига, у нас ничего не было. А мы делали вид, что у нас есть завтрашний день, у нас есть будущее. Кроме этого укромного уголка в чужом гранатовом саду, кроме гнездышка в высокой траве у нас ничего не было. Кроме воспоминания, у нас ничего не было. Не было – потому что была война, и было отречение. А мы убеждали себя, что теперь у нас все будет. Мы приобрели только воспоминание, а стали обманывать себя, что приобрели будущее. Мы дали друг другу свой адрес. Она к своему адресу приписала слово «люблю» и попросила написать это слово меня. Я написал. Она пальчиком прикоснулась к каждой букве и с вопросом поглядела на меня. Я произнес каждую. Она повторила. Потом она прижала мою ладонь к губам и довольно чисто сказала:

– Люб-лю!

Потом она нарисовала контур Великобритании и на севере ее, как я мог определить, где-то около Эдинбурга поставила точку.

– Келсо! – сказала она.

Я взял новый лист во весь его нарисовал нашу империю, кружочком обозначил Петербург, или, по-нынешнему, Петроград, и кружочком обозначил Екатеринбург. На следующем листе я нарисовал Персию с городом Хамаданом и в левом нижнем углу нарисовал Месопотамию, поставив в ней точку:

– Вот мы здесь!

– Вот мы здесь! – повторила она за мной.

– Это Россия. Это в России Екатеринбург, мой город, – ткнул я себя в грудь. – А это Персия, это Хамадан, где мы располагаемся штабом, – я снова ткнул себя в грудь, – А это мы! Вот мы здесь!

– Вот мы здесь! – сказала она. – Вот мы здесь! Люблю!

Ее зеленые глаза были чисты. Она снова прижала мою ладонь к губам.

– Борис! Люблю! Вот мы здесь! – сказала она, и это походило, что мы в ладони.

– Нет, мы здесь! – стал целовать я ее ладонь.

– Борис! Люблю! Вот мы здесь! Нет, мы здесь! – стала повторять она раз за разом, целуя мою ладонь.

– Нет, мы здесь! – говорил я, целуя ладонь ее.

Потом мы пошли по траве своей же тропой обратно. На каждом шаге мы останавливались и целовались или целовали друг друга в ладони.

– Вот мы здесь! – говорила она.

– Нет, мы здесь! – говорил я.

И какая же это была ложь! Мы уходили от нашего гнездышка в траве чужого сада. Нам навстречу шло наше бессилие перед судьбой, перед поступком и словом единственного человека, которому я принадлежал без остатка. Я ощущал эту ложь. Но я продаял для этой лжи время. Я на каждом шагу останавливал Элспет, чтобы, целуя ее, сказать свое: «Нет, мы здесь!» – Быстро принятое в бою плохое решение лучше потери времени в поисках решения хорошего. Оно, быстро принятое, идет от сердца.

Мы вышли из сада. За столом был перерыв. Люди стояли отдельными группами. Ближе всех к нам, будто караулили, стояли два со-

седа Элспет по столу. Я поискал глазами лейтенанта Дэвида. Он был подле Энн. Мы подошли к соседям Элспет по столу. Они сделали вид, что нас не замечают. Глаза их были злы. Элспет сжала мне руку. Я успел ей ответить. Она пошла к Энн. Все, как и два соседа Элспет по столу, сделали вид, что Элспет не замечают – не замечают того, что она только что вышла из сада. Но я отличил – всем, кроме бывших ее соседей по столу, было неловко.

Я остановился около бывших двух соседей Элспет по столу. Они нехотя взглянули на меня.

– Сейчас! – сказал я и показал рукой подождать меня.

Я быстрым шагом пошел к кухонным работникам. Повар-сипай навстречу радостно воскликнул.

– Виски, три стакана, братец, живо! – сказал я и продублировал приказ жестами.

Он сообразил и радостно поставил на поднос бутылку виски, три стакана и чашку со льдом.

– Льда не надо! – показал я убрать лед и скомандовал идти за мной.

Я мало на это рассчитывал, однако оба бывшие соседа Элспет по столу со мной выпили. Может быть, они разбирались в наших погонах и подчинились старшему офицеру. Может быть, ими руководило другое чувство – может быть, они не были виноваты в стычке там, в караван-сараяе, и им было стыдно за своего товарища, бросившего окурок к нам на стол. Они со мной выпили, поблагодарили и попросили разрешения уйти. Я разрешил. Они отошли в сторону и опять остались вдвоем. Я отпустил сипая. Он радостно блеснул на меня глазами.

Еще раз я прикоснулся к ладони Элспет через минуту, подойдя проститься.

– Борис! Вот мы здесь! – сказала она и украдкой, коротко, совсем по-мальчишечьи, но чрезвычайно родно чиркнула ладошкой себе около горла. Я понял, что именно предстоит ей после моего ухода. Глаза ее были чисты. Она была готова на все.

– Мы здесь! – сжал я ее ладонь.

Я тоже был готов на все. Я в эту минуту забыл об отречении.

Я откивнул ей, откивнул лейтенанту Дэвиду, откивнул Энн и всем остальным.

– Я вас провожу! – сказал лейтенант Дэвид.

Мы пошли. Я чувствовал глаза Элспет. Мне едва хватало сил, чтобы не вернуться к ней.

– Помните наш разговор, Борис. Я помогу вам! – в горячей решимости сказал лейтенант Дэвид.

Я молча и крепко сжал его руку.

В батарее было все по-прежнему. После вечернего построения я опять ушел к себе. Глаза Элспет и ее ладонь были передо мной. Среди ночи я привычно проснулся проверить караулы и поймал себя – я и во сне был с Элспет. Я переживал за себя, а не за государя-императора.

– Ложь, все ложь! – сказал я генералу Михаилу Дмитриевичу Скобелеву его же словами, но в противоположном смысле.

Будучи один, я весь был в службе. Будучи с Элспет в сердце, я о службе и государе думал во-вторых. Постыдно, но такой лжи я хотел.

Глава 24

Казвин открылся не сразу. Он мало чем отличался от прочих азиатских городов по архитектуре и устройению, но имел свою особенную черту. Собственно, все персидские города отличались тем, что выносили свои сады за городские стены. Но Казвин был окружен виноградниками, фисташковыми и миндальными садами плотно, как хороший солдат хорошо скатанной шинелью. К тому же он располагался на равнине перед снежным хребтом Эльбурс, начавшим выныривать из-за холмов на поворотах дороги и магнетически притягивать к себе глаза, так что городу внимания не оставалось. Два года назад во время антирусского разгула Казвин стал прибежищем массы русских служащих со всей Персии. При этом местные жители, наущаемые дервишами и агентами турок и германцев, приняла беженцев, как и все русское, весьма враждебно. По улицам пошли своеобразные демонстрации в виде похоронных процессий.

Толпы жителей, выряженные в белые передники и украшенные черными флагами с неизменными же дервишами во главе, шатались по улицам и пели некие гимны, в переводе обозначающие ни много, ни мало, а «смерть нам, правоверным, если ранее не умрут русские нечестивцы». Торговля, находящаяся в руках местных армян, была полностью прекращена и, говорят, что те, кто отваживался торговать, были преследуемы и даже убиты.

Теперь же было наоборот. Город был в руках расхристанного русского полка, собранного из уголовного элемента и дезертиров, что вошло в обычай при временной сволочи.

Первых из них мы встретили при въезде. Были они то ли пикетом, то ли междусобойной группой в шесть человек, по своему желанию вышедшей на окраину и расположившейся в тени большого платана среди брошенных наземь шинелей и прочей амуниции. Я спросил, как проехать на Рештскую улицу к начальнику гарнизона.

– Ой, не стоит, ваше высокоблагородие! Я же все здесь знаю! – предупредил меня шофер Кравцов.

– Братец! – позвал я ближнего к дороге.

– Ну! – отозвался он и посмотрел на остальных.

– Рядовой, ко мне! – приказал я.

– Ну! – снова сказал он и снова посмотрел на остальных.

– Дядя, тебе чего? – спросил один из них, очевидно, старший.

– Прошу вас, ваше высокоблагородие, не связывайтесь. Поедемте. Я сам все знаю! – взмолился шофер Кравцов.

Сколько ни был я со времени отречения и преступного приказа номер один готов к подобному случаю, у нас совершенно немыслимому, тут же, однако, я впал в холодное бешенство. По мне враз прошли две мысли: я ничего с ними сделать не смогу, и я сейчас их всех просто-напросто застрелю. И тотчас мне почему-то вспомнилась картинка, мной увиденная год назад на Асад-Абаде, когда мы с Николаем Николаевичем Баратовым последними, уже в полуокружении, покидали этот перевал. Я вспомнил, как командир пограничников полковник Юденич Михаил Семенович специально приехал на перевал, ходил по лазаретам, собственно среди лежащих прямо на земле солдатиков, и искал своих.

– А, кажется, мой! – тыкал он неизменным ореховым прутом в кого-то из своих и, если рана того оказывалась пуствяшной, или бедолага оказывался в лазарете по чрезвычайному переутомлению, бил его, называл дезертиром и гнал обратно в полк, последними силами держащий фронт.

Я жестом велел шоферу Крацову и вестовому Семенову оставаться в автомобиле и пошел к группе. Она вся тотчас напряглась. Я подошел. Все невольно встали и заправились.

– Кто старший, братцы? – дружелюбно спросил я.

– Я, двести семьдесят девятого пехотного полка, пятой роты рядовой Лямин! – встал во фронт малый с каким-то зловатым, но умным выражением лица.

– Кто командир роты? – спросил я.

– Прапорщик Сизиков, ваше... – запнулся рядовой Лямин на отменном, но въевшемся титуловании.

Я решил его выручить.

– Что же он вас, братцы, не научил дисциплине? – спросил я.

– Виноваты, господин полковник! – за всех ответил рядовой Лямин.

– Ну, а как если бы курды или местные бандиты дженгелийцы? А вы расхристанные! Враз уволокуют к себе и начнут мучить, прежде чем убьют! – сказал я.

– Виноваты, господин полковник! – снова за всех сказал рядовой Лямин.

– Это что же, весь полк такой? – спросил я.

– А ты кто будешь? При тебе мандат или документ есть? – вдруг шагнул ко мне некий тип моего возраста, с сероватым на цвет и безволосым лицом.

– Фамилия, рядовой! – потребовал я.

– А я член ротного комитета и каждому докладываться мне нет надобности! – сказал он.

– Ладно, тебе, Штыпель! Видно же, что они при исполнении! – не смело сказал рядовой Лямин.

– А ты больно-то не тянись, не кум перед тобой! Я доложу в комитет! Там тебе потянуться дадут! – пригрозил Штыпель.

Николай Николаевич Баратов был прав, когда говорил, будто

знает мой характер. Я снова был готов вынуть револьвер и пристрелить сего Штыпеля на месте. Но Николай Николаевич был прав еще раз, когда говорил, будто знает мой характер. На слова Штыпеля я любезно улыбнулся и – вот картинка для альбома князя Гагарина, вероятно, завершающая его альбом, – протянул Штыпелю служебное предписание.

– Глянь, Коростелев! – стараясь небрежно, но что-то чуя неладное в моем поведении, сказал Штыпель через плечо.

Предписание взял солдатик, по виду из приказчиков на розничном рыбном торге – так мне его определилось.

– Командир корпуса Баратов и печать. Подполковник Норин. В Казвин, к нам, значится. Полномочный. Это значит... – как-то выборочно стал читать Коростелев.

– Все, смолкни, – велел Штыпель.

– Разрешите идти? – с той же улыбкой спросил я, хотя никуда уходить не собирался.

Штыпель, уже явно хлебнувший офицерской крови, но неизвестно почему не отирающийся у себя в комитете, а выпровоженный в пикет, постарался незаметно оглядеть меня, как бы проверить степень моей опасности. Мой вопрос поставил его в тупик. Однако же он в тупик не поверил. Я не стал ждать, шагнул к нему и быстро ударил тычком в нос, а потом сзади подсек по ногам. Он упал на колени. Я выхватил револьвер.

– А ну встать! – сказал я Штыпелю, хотя был уверен, что сразу встать он не сможет. – Поднять мерзавца! – махнул я револьвером на остальных и не сдержался сказать. – Стыдно вам, защитники Отечества, стыдно и позорно терпеть вот таких! Поднять мерзавца! – и жестом остановил полетевших ко мне шофера Кравцова и вестового Семенова.

Потом я велел Штыпелю утереться, посадил в автомобиль и повез на улицу Рештскую, где сдал дежурному по караулам.

Город действительно был во власти расхристанного полка. Нас несколько раз останавливали. Я велел Штыпелю говорить, что он комитетчик и провожает нас. Он говорил. На нас с подозрением смотрели, но, видно, Штыпель был известным в полку. Нас пропустили.

– Как же ты, из комитета оказался в пикете? – спросил я.

– Это все Кодолбенко! – всхлипающе сказал Штыпель.

– Кто такой? – спросил я.

– Главный в полковом комитете, мокрушник, зараза! – сказал Штыпель.

Начальник гарнизона полковник Подзгерский был у себя.

– Вы одни? – сразу же спросил он и показал в окно: – Это черт знает что такое! Четвертые сутки болтаются! Дальше отправляться не хотят, требуют возвращения! Грозили меня пристрелить. Командир полка под арестом. Офицеры, которые не с ними – тоже.

– Как это «которые не с ними»? Что же, есть «которые с ними»? – опешила.

– Военный выпуск, всякая шваль, земские учителя, землемеры, какая-то эсеровщина! – в злой брезгливости сказал полковник Подзгерский.

– Так что? У вас в руках власть, комендантский взвод, караульная команда, в конце концов! – сказал я.

– Все пустое! Этих бандитов шестьсот человек! Сметут и не поморщатся. Даже онучей своих не запачкают! – с прежней злой брезгливостью ответил полковник Подзгерский и спросил: – Вы-то почему одни? По крайней мере, я ждал с вами пару сотен казаков!

– Они отведены на отдых, – едва не сквозь зубы сказал я.

– Вот как! – воскликнул полковник Подзгерский. – Это новость! А командующий сообщал, что нет ни одного свободного солдата, не только казака!

– Я же говорю: отведены на отдых! – сказал я.

– Вы, кажется, шутите! – наконец догадался полковник Подзгерский. – Да, следовало мне самому догадаться.

– Давайте к делу, господин полковник! Пожалуйста, дайте сколько возможно полную картину на сегодняшний день в городе в связи с этим полком и какие вами приняты меры! – прервал я полковника Подзгерского.

– Извольте! – начал было он, но тут же махнул рукой: – Да все в их руках!.. Если уж командир полка арестован!.. И ни одного сильного человека, который бы... Да что говорить! Вон проходил Восемнадцатый драгунский полк, и тоже, так сказать, изволил расседлаться, то

есть, тоже забузил! Так у них, я скажу, унтера заступились за офицеров! Мне запомнился один такой. Полный бант на груди, сам небольшой, а как замахал кулачищем: «Вы что! – заорал. – Вы думаете без начальства прожить! Да дураки вы!» и так далее.

– А фамилия унтера? – с интересом спросил я.

– Да кто же унтеров запоминает! – в усмешке воскликнул полковник Подзгерский. – Но если вспомнить... Да, – и крикнул адъютанту войти. – Скажите-ка, этот унтер из драгунского полка, что вам понравился, как его фамилия? Ну, тот, который все их сборище обозвал дураками и помог офицерам восстановить дисциплину?

– Буденный его фамилия, Сергей Юлианович, унтер Буденный! – вспомнил адъютант.

– Молодец! – не удержался воскликнуть я при упоминании фамилии моего старого знакомого.

В кабинет гулко, с притопом разбитой обуви и отстраняя адъютанта, вошла толпа солдат.

– Вот! – только и успел сказать полковник Подзгерский.

– Это как, полковник, понимать? – вышел от толпы солдат с веселым круглым лицом при белесых ресницах и с револьверной кобурой на поясе.

– Доложитесь по все форме, Кодолбенко! Перед вами начальник гарнизона и полномочный представитель командующего корпусом! – крикнул полковник Подзгерский.

Он крикнул явно для меня. Явно без меня у него был бы с этим солдатом другой тон.

– Ты меня знаешь, полковник. Я подчиняюсь только приказам армейского комитета. Мне ваши представители – вот! – изобразил он высморк.

– И что тебе надо, Кодолбенко? – перешел, видимо, в прежний тон полковник Подзгерский.

– А первое, не тебе, а вам. А второе, факт рукоприкладства к революционному солдату! – сказал Кодолбенко и обернулся на толпу: – Который?

– Вон, подполковник сидит. Он и сдал! – ткнул из толпы на меня пальцем начальник дежурного караула.

– Прямо по сопатке. Мы в пикете, при исполнении. А он по сопатке! – уточнил факт рукоприкладства Штыпель.

– Ну, вот, как говорится, баушка Орина тихо померла! Собирайся, твое высокоблагородие, на выход! И оружием не баловать! Враз к стенке, как клопа в гербарии, приткнем! – весело глянул на меня Кодолбенко.

Толпа передо мной развернулась в полукруг. Несколько ближних штыков почти коснулись меня. Я весь опустел. Меняхватило только на короткую мысль о том, как я бездарно провалил поручение Николая Николаевича Баратова. Мысль закончилась словом «проткнут». В каком-то сковывающем холоде, будто на Марфутке и будто от пролетевшей высоко пули при дурацкой атаке Раджаба на наши позиции, я отдал револьвер, кинжал и пашку, усмехнулся, явно криво усмехнулся, не торопясь поглядел на Кодолбенко. Он кивнул на дверь. Я пошел. Толпа затопала за спиной.

– Надо кончать сразу, – сказал там, за спиной, голос Кодолбенко, не он сам, а, в моем застывшем представлении, лишь его голос.

– Сперва надо судить! – возразил ему другой голос.

– Таких надо кончать сразу! Это белая кость! Ее не исправишь! – сказал голос Кодолбенко.

– Нет, Кодолбенко, как решит комитет. Стрелять его не за что. Ишь, сатрап какой! Мы тебя с власти-то по чилде мешалкой – быстро! – ответил ему другой голос.

Так в препираниях меня привели все-таки не к стенке, а в пакгауз в конце двора, велели часовому открыть дверь и толкнули в темноту.

– А я доложу на повестку заседания твою блудную требуху, Ульянов! – уже за воротами пакгауза сказал голос Кодолбенко.

– А я доложу, что ты в сатрапы метишь, власть поперек революции в полку взять хочешь. Из тебя самого твой гербарий сделают! – ответил другой голос, то есть теперь уже голос Ульянова.

– А вот баушка Орина тихо померла. Ризнула в перину, не подождала! А это ты, Ульянов, видел! – сказал голос Кодолбенко.

Я остановился на пороге, ничего не понимая. Я весь был в холоде. И я не мог сообразить – приснилось ли мне это или все произошло на-

яву. Я тяжело передвигал в стылом мозгу, что, может быть, все-таки я уснул в автомобиле, что никаких Штыпелей с Кодолбенко не было. Тому помогала чернота, в которой я оказался. Я пошарил по поясу. Ни кинжала, ни шашки, ни револьвера в кобуре не было. Но и это не убедило меня. Я подумал о планшетке с письмом Элспет и вспомнил, что оставил ее в автомобиле у вестового Семенова. Я стал думать, как бы ловчее проснуться. «Любовь не окрыляет и не подвигает. Она отнимает последние силы!» – подумал я, радуясь уже тому, что все это во сне. Мне стало хорошо от того, что все это было во сне. Я в сон поверил.

– Проходите, добрый человек! Кажись, вы из офицеров? – вдруг заговорила чернота сильным стариковским басом.

– Спасибо. Только я ничего не вижу! – услышал я свой голос и даже подивился, что голос мой был без особого разочарования – именно, как во сне.

– А вы на наш голос проходите. Под ногами ничего нету. Не запнетесь! Только, извиняйте, не разглядели мы вашего звания! – снова сказала чернота.

– Спасибо! – снова услышал я себя и услышал, будто часть холода, как иней с деревьев, с меня посыпалась.

Я несмело шагнул.

– Та вот туточки и сидайте! – заботливо подсказала чернота.

Я с трудом от не отпускающего холода нагнулся, нашарил край чьей-то одежды, присел и еще раз спросил себя, во сне ли я.

– Так кто же вы будете, шо вас зрестовали? Ныне худых не зрестовывают! – услышал я едва не около уха.

– В таком случае, и вы не худые! – кое-как нашел, что сказать, я и стал склоняться, что все-таки я не во сне..

– Были бы не худы, разве ж поддались бы этой ерлыжне! Господи, прости! Ерлыжня и есть! – сплонула чернота.

Говорила чернота по-малороссийски. Этого наречия я воспроизвести не умел, потому ее слова передал, как вышло.

– Ерлыжня, – подтвердила чернота другим стариковским голосом.

– Только что много ее да со штыками. А так выйди хотя бы три на один. Мы старики, а сопля-то пятками утирали бы они! – подтвердила чернота первым стариковским голосом.

– Расхристались. Революция им. Плетей давно не чуяли! – сказала она голосом другим, а потом в два голоса спросила снова: – Так кто же вы будете, добрый человек?

Я сказался.

– Тю, ваше высокоблагородие! Честь имеем! А мы вот, он Кубанского войска Уманского полка отставной старший урядник, а ныне старик Кавказского отдела станицы Переясловской Иван Петренко, а я того же полка отставной хорунжий Федор Прудий! – в восторге отрекомендовалась чернота.

– Как! – сколько мог в моем холоде, вскричал я. – Как станицы Переясловской! А случайно подьесаула Гамалия вы не знаете? Он уроженец вашей станицы!

– Ваше высокоблагородие! Так ведь мы ж от станичного собрания стариков к нему в полк почетными аманатами направлены. Мы же его, героя, на все будущее время объявить постановили! – вскричала чернота враз в два голоса.

И последующий мой вопрос, почему старики оказались здесь, совпал со сказанным в один голос их вопросом, откуда знаю я сего героя Гамалия. Мы вскрикнули на три голоса, смолкли каждый в ожидании ответа и опять вскрикнули, опять смолкли, ожидая, кто же скажет, и опять вскрикнули. Не спрашивать, а подождать стариков я спохватился первым.

– Так знаете Ваську-то? – спросили старики.

– Да как же нет, господа! Ведь два года вместе! – сказал я.

– Эвон, каков он стал ныне, Васька-то! Герой. А, поди, так теперь к нему нас не пустят! Скажет: «Кто? Старики из Переясловской? А гнать их отсюда, пока я им на старые зады гостинца не отвесил!» – Шибко ведь он малолетком-то шебурным был! – сказали себе старики.

– Василий Данилович Гамалий сотенный командир и Георгиевский кавалер. При этом он душевнейший человек! – в обиде за друга сказал я, и будто с меня холода еще ссыпалось.

– Васька молодец. Молодец Васька, казак! – согласились старики. Часовой в ворота стукнул прикладом.

– Эй вы там, вашу мать! Галдеть вам приказу не было! Вмиг через дверь стрелю! – пригрозил он.

Меня в ответ прорвало. Будто река вздулась, вспучилась, выгнула и сломала лед. «Меня так же травили собаками и тыкали вилой!» – ударило мне в голову.

– Ах ты сволочь! А ну зови сюда начальника караула! – заорал я.

Никакого начальника караула мне не было надо. Но лопнул лед, ожившая река потекла. Я не смог сидеть просто так.

Часовой на мой приказ в удовольствии заржал, захлебнулся, кое-как откашлялся и утробно сплюнул. Плевков шматом шмякнул о камни.

– Эй ты! – позвал он кого-то со смехом. – Передай, эти благородия нашему начальнику велят прибыть сюда! А то сами заявиться грозят, иху мать! – и потом, в том же удовольствии стукнув прикладом в ворота, прокричал мне: – Сейчас, мил человек! Сейчас, сволочь тихий гусь!

– Сейчас, сейчас! – в бешенстве сцепил я зубы.

– Ваше высокоблагородие! – схватили меня старики за руки.

– Сейчас! – сказал я.

Бой – это та же степенная и размеренная мирная жизнь, только до предела сжатая. Как и в не сжатой степенной размеренной мирной жизни, так и в бою, мы не можем предугадать следующего мига. Только в бою этот миг отличается от мига жизни не сжатой. И всего-то. Потому в бою даже при хорошей, а то и прекрасной разработке плана, в отличие от жизни не сжатой, приходится постоянно преодолевать нескончаемую череду непредвиденного и случайного. Степень их преодоления определяет успех или неуспех боя.

Эту простую штуку следовало бы знать начальнику караула. Пока он, возмущенный моим поведением и явно выслуживающийся перед комитетчиками, входил в пакгауз, царапал свою кобуру в намерении помахать револьвером передо мной, я сбил предвкушавшего некое развлечение часового с ног, его штыком загнал начальника караула в угол, велел отдать револьвер и для острастки дал ему хорошего леща в ухо. Потом я пинками загнал часового в пакгауз, разрядил его винтовку, а с револьвером в прижатой к бедру руке пошел по двору к полковнику Подзгерскому. Я, чтобы не обратить на себя внимания, намеренно пошел шагом.

Однако бой есть бой. В этот раз случайность была не на моей стороне. От караулки за своим начальником следили, чего я не пред-

усмотрел. Там заполошно заорали тревогу. Пришлось мне спешно возвращаться в пакгауз и закрываться изнутри. Навалившемуся и начавшему долбить прикладами в ворота сброду я объявил, что этого не следует делать, что это может повредить их – как начальника караула назвать – товарищу, не товарищу... Я так и сказал: «Вашему товарищу или не товарищу!» Ругани на это было изрядно. Пришлось выстрелить в потолок и снова, так сказать, попросить, чтобы успокоились. Это подействовало. К пакгаузу приставили двух часовых.

Ни во время моего так называемого боя, ни во время возвращения в пакгауз я странным образом не видел моих стариков. Я даже забыл о них. Опыта рукопашного боя у меня не было. И я все делал в сильной аффектации, механически. То-то мне было как бы во второй раз неожиданностью, когда они заговорили.

– А джигит вы, ваше высокоблагородие, истый казак! – услышал я их, и мне стало стыдно. – Джигит, джигит! Теперь можно поверить, что вы Ваську Гамалия знаете! – похвалили старики.

Я тяжело выдохнул. Что теперь с нами будет – вот этого я подлинно не мог предугадать. То есть, наоборот. Теперь я определенно мог сказать, что со мной будет, только я не мог сказать, как и когда.

Так прошла ночь, в течение которой какая-нибудь сволочь считала своим долгом подойти к пакгаузу, ударить в ворота и погрозить мне растерзанием. Я не отвечал. Подходили и спрашивали начальника караула, как он. Я или давал отвечать ему, или отвечал сам. Разумеется, мне грозили самыми изощренными карами. Я сел подле ворот, прямо под запором, чтобы услышать если вдруг мои скульливые пленники отважатся, когда я ненароком засну, открыть их. Я предупредил, что убью, если они попытаются это сделать. Они за верили, что не попытаются.

Старикам я предложил выйти – не делить же им мою судьбу.

– Так за что же вас арестовали? – спросил я.

И оказалось, их арестовали за то, за что и меня – они стали призывать полк к дисциплине.

– Да разве ж теперь мы вас бросим! Не было такого на Кубани среди казаков, чтоб джигитов предавали! – сказали они, долго шарили по полу, собрали все патроны, брошенные мной из обоймы,

зарядили винтовку. – Вот! – сказали. – Теперь мы тоже казаки при оружии. По очереди караул нести будем!

Я не знал, что делать дальше, и устал думать об этом. Я стал сочинять письма Элспет. Опять, как и в автомобиле, я насочинял их много. В силу их одинаковости со всеми письмами к любимым других людей, приводить их здесь нет нужды. Может быть, отличным было то, что я за многие месяцы, то есть, уже годы войны почувствовал себя свободным. Я где-то говорил, что война освобождает от многих условностей, не дающих человеку свободы в мирной жизни. С войной у меня появилось много, как вот сейчас, свободного времени. И это было странное счастье – писать ей и знать, что она все каким-то образом прочтет, хотя не только не прочтет, но даже не узнает, что я ей целую ночь писал. Я был в счастье писать ей, искать в себе самое тонкое, самое трепетное, самое в душе моей закоулочное и сокровенное. Я написал ей о моей любви к Ражите, к шестнадцатилетней Ражите, живущей только во мне. Я признался ей в своей теперь уже ушедшей страсти к Наталье Александровне. Я писал о том, как у нас не сложилось с Ксеничкой Ивановной, как искала моего чувства Валерия, как что-то дрогнуло во мне к Маше Чеховой. Писать было легко. Я все искал в себе и обо всем писал Элспет. Я пересказывал ей слова лейтенанта Дэвида, поклявшегося помочь нам в нашем чувстве. Я перемежал свои строки о любви к ней строками о Василии Даниловиче, его подвиге, нашей дружбе, написал о Коле Корсуне, о Николае Николаевиче Баратове, уходил в воспоминания о детстве, о нашей прибельской даче, лесе и лугах, черном озере Кусян с его чудищами, вспомнил Фазлыкая и Тимирбая, опять вернулся в Персию, написал наши труды по отходу с Диал-Су, написал о Бехистуне, рассказал о сотнике Томлине, вернулся на Олту и сказал о Саше, заодно сказав о каком-то его участии в персидских событиях. Все, что было во мне, я написал Элспет. Я написал, что это не прощание. Это просто мое чувство к ней. А потом я написал, что, возможно, это прощание – ведь я уходил от нее к Ражите, к моей шестнадцатилетней Ражите, живущей только во мне. Потом я снова написал, что это не прощание. Это просто псалом, написал я. Это так, будто я читал псалом – девяностый ли, иной ли, но светлый радостный псалом.

«Господи! Не суди меня! – читал я своим письмом. – При всех грехах моих, я нашел это! Да ведь и Ты же вел меня к этому, Господи! Ты дал мне это!» – А «это» как раз было мое чувство свободы, мое время писать Элспет.

И вместе с письмами я чувствовал то, как я боялся смерти, как я ее не хотел. Переламывая страх, я думал, что нужно суметь успеть застрелиться. А для этого нужно не представлять заранее этой сцены и не надо представлять сцены глумления над моим телом, не надо представлять оставляемой жизни, не надо думать об Элспет. И я чувствовал, как я боялся перелома ночи на рассвет – я боялся в это время заснуть.

Именно на переломе к рассвету я заснул. Разбудил меня голос начальника караула.

– Ваше высокоблагородие, нет мочи, до ретроградного места бы, до ветру! – прохныкал он.

Я только молча сматерился. «Вот что нас погубит!» – подумал я о смраде испражнений, неминуемо нас ожидаемом.

Не стало счастья быть свободным и писать письма. Пришла служба. В службе я злобно стал думать, как мы сдохнем не от пули, а от смрада своих испражнений в полном соответствии с поруганием мундира офицера его императорского величества, офицера Российской армии. «Революция знала, когда, где и как достать!» – стал думать я.

– Делай у себя в углу! – сказал я.

Начальник караула долго кряхтел, тужился и долго что-то там – уж и не знаю, как сказать – вытворял. Однако после всего он едва не с плачем доложил, будто я был виноват:

– Не могу, ваше высокоблагородие! Не могу! Спеклось!

– Ковырни пальцем! – посоветовали старики.

– Ковырлял, ваши благородия! – доложил он.

– Тотих поганы твои дела! Час-другой и помрешь! – сказали старики.

– Отпустите меня! Не дайте погибнуть христианской душе! – взвыл начальник караула.

Вздернувшийся от его воя часовой громыхнул прикладом в ворота:

– А ну там, вашу мать! Сейчас через дверь стрелю!

Это было похоже на давешнее. Старикам стало смешно.

– А что, ваше высокоблагородие! Может, повторим? Теперь и мы с вами. А? – всхотнули они да вдруг спохватились: – А что, может, правда, а? Хоть в бою жизнь продадим! А то ведь тоже спечется!

О том, что дело пустое, что не дадут нам в бою помереть, я ответить не успел. В нескольких местах двора по-гусиному загоготалось: ась? шо? гы? – оказывалось, что нас караулил едва не весь полк.

– Поймают и будут мучить, – сказал я.

– Ах ты, Васька! – вдруг взорвались старики на Василия Даниловича Гамалия. – Ведь к тебе, язви тебя в душу, от станицы нас отправили! Ведь тебе, голодранцу, нас отправили почет отвезти. А ты вона что! Ты, поди, давно уж и не воюешь! Ты, поди, с персиячкой какой займешься! Ты, поди, уж и родну станицу забыл, поди, уж веру православну горьку на сладко магометанство променял! А мы тут со всякими пердунами сиди! Ах ты, язви тебя в душу!

– Отставить, господа! – рявкнул я.

– Как это отставить? – удивились и тотчас обиделись старики. – Да вы хоть и штаб-офицер, да мы-то зато старики! Мы-то зато выбранные в станичное собрание стариков!

– Молчать, старики! – прошипел я.

Я уловил – что-то новое случилось во дворе. Гусиное гоготание, эти все: «ась? шо? гы! стрелю!» – вдруг сменились на что-то другое. Вдруг возник и стремительно стал нарастать некий иной оттенок этого гоготания, стремительно переросший в шум накатившей на берег и отползающей волны.

– Что, ваше высокоблагородие? – шепотом спросили старики.

Я не мог точно различить, что. Но этот же вопрос «что?» тревожно заперекатывался по двору.

– Что? Что? Кто? – понеслось оттуда к нам и вдруг все взорвалось паническим криком: – Тикай!

Все мимо нас прогремело и стихло. Сиротливо хлопнули где-то на улице два револьверных выстрела. Когда к нам в ворота постучали открывать, в городе революции уже не было.

– Здравствуйте, подполковник! Здорово ли ночевали? Пожалуйте к нам на молебен! – раскинул руки навстречу раскрываемым воро-

там чрезвычайно малого роста казачий подполковник, то есть, показачьи, войсковой старшина со Святым Владимиром на черкеске.

Это был тот самый командир партизанского отряда Шкура, о котором говорил при постановке задачи Николай Николаевич Баратов, но о котором я в связи с моим некоторым заморозением напрочь забыл. Да и хорошо, что забыл. Господь уберет помнить о нем и тем уберет от мучений ожидания помощи, отнимающего всякую волю.

Надо ли говорить, что молебном была картина выстроенного обезоруженного полка, вокруг которого стояли партизаны Шкуры с драгунками наперевес. Перед полком стояли кучкой освобожденные из-под ареста командир полка и его офицеры. Знойное молчание всей картины как-то гармонично вписывалось в наливающееся зноем утро. Завидев нас, вернее, завидев своего командира, навстречу побежал высокий и плотный подьесаул.

– Ваше высокоблагородие! Двести семьдесят девятый пехотный полк выстроен по вашему приказанию! Докладывает подьесаул Ассиер! – сверху вниз прокричал подьесаул.

– Начинайте! – снизу вверх махнул перчаткой Шкура.

– Слушаюсь! – подьесаул на месте повернулся так, что из-под сапог брызнул гравий дорожного полотна.

– Ну, тотиж дадут плетюганов! – в удовольствии сказали старики.

– Войсковой старшина! – окликнул я войскового старшину Шкуру.

– Да, господин полковник! – отозвался он.

– Я не вижу рядом с полком комендантской команды. И я не вижу полкового знамени! – сказал я.

– Совершенно верно! Подьесаул! – крикнул войсковой старшина Шкура своему подьесаулу.

Тот так же круто развернулся.

– Гарнизонную команду и знамя сего сброда – сюда! – приказал войсковой старшина Шкура.

– Слушаюсь! – подьесаул снова повернулся на месте, и снова из-под каблуков его брызнул гравий.

– Господа! – едва не в слезах взмолился командир полка. – Господа, избавьте от позора. Не позорьте знамени! Ведь не эти смутьяны под ним сражались! Прошу вас, господа!

Войсковой старшина Шкура посмотрел на меня. Я понял, что хватил лишку.

– Вы правы, господин полковник! – сказал я. – Но скажите им, как вы их назвали, смутьянам, о том, что они опозорили полковое знамя. И по закону военного времени они должны быть преданы суду. У них один выход – очистить знамя от пятна позора своей самоотверженной службой.

– Да, да! Благодарю вас покорно! Я скажу! Мы проведем расследование! Благодарю вас, господа! Вы спасли полк от расформирования, а меня от суда и позора! – засуетился командир полка.

Ко мне подошел полковник Подзгерский.

– Как я рад, что все так обошлось. Я протестовал против вашего ареста. Я пытался связаться с корпусом. Я сразу же сказал этому войсковому старшине о вас. Поздравляю со счастливым окончанием! – сказал он по-французски.

– Не имею чести быть с вами знакомым! – по-французски же ответил я.

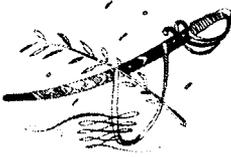
Подъесаул ждал команды войскового старшины Шкуры. Тот коротко махнул.

– Полк! – протяжно, как далекий нарастающий гром, прогремел подъесаул. – Шапки-и-и долой!

Опять побежавшей на берег волной по улице прошел шум. Полк скинул папахи.

– Полк! Запе-е-е-вай! – скомандовал подъесаул.

Революционный полк запел гимн Российской империи «Боже, царя храни!» Мы взяли под козырёк.



Меж ними все рождало споры



Евгений ЖУКОВ

О РОМАНЕ АЛЕКСАНДРА КЕРДАНА «КРЕСТ КОМАНДОРА»

*Мхом поросший лес хранит молчание
О давнишнем споре – кто кого...
Об открытиях, сделанных датчанином,
А вернее, вовсе без него.
О простых, с мужицкою хваткою,
Людах что пришли издалека,
Распрощавшись с Курском,
Тотьмой, Вяткою,
Да вот здесь оставшись на века...¹
А.Кердан*

В декабре 2010 года детский литературный клуб «Слово», как это было ранее, в январе 2008 года, когда нами обсуждался роман «Берег отдаленный», в Свердловской областной библиотеке для детей и юношества провел (при активном участии самого автора) читательскую конференцию по роману Александра Кердана «Крест командора» (исторические приключения)².

По старой доброй традиции литературного клуба конференция-обсуждение началась с «разминки», где определялись лучшие знатоки прочитанного текста. Вот основные вопросы этого действия.³

– Зачем, на ваш взгляд, автор начинает свой историко-приключенческий роман с описания детских лет Витуса Беринга, одного из главных героев повествования? (описана та среда, в которой рос и воспитывался будущий мореплаватель; становится ясно, что уже в

¹ Кердан А.Б. Стакан земляники: Стихотворения. – Екатеринбург, изд-во «АсПур», 2011, с.25.

² Здесь и далее: Крест командора: роман/Александр Кердан.–М.: Вече, 2010.-384 с.–Исторические приключения.

³ Приведем заодно и ответы школьников на вопросы.

ребенке-Беринге обнаружались важнейшие черты его личности: он любил церковное пение, хорошо пел сам, его церковному наставнику «нравились сосредоточенность и немногословие мальчика, за которыми мнились ему качества будущего истового прихожанина: глубокая вера в Создателя, способность к самоотречению к аскезе» (с.7), мечтал стать духовным пастырем, но, выполняя волю покойного отца, становится морским офицером).

– Чьи слова предрекают, что он, Витус, уже с детства «возложил» на себя чужую судьбу? (Это слова его бабушки: «...Зачем, Витус? Я говорила тебе – нельзя подбирать чужое! Тем более – крест! Ты же чужую судьбу на себя возложил!»).

– Кому же по справедливости достается нести этот «крест», если вспомнить последние страницы романа? (капитану Алексею Ильичу Чирикову, как, например, в предыдущем романе «Карманный оракул испанского сочинителя» Бальтазара Грасиана переходит в руки главного героя Кирилла Тимофеевича Хлебникова).

– Какие смыслы несет в себе такое заглавие романа? (довольно прозрачный намек на то, что судьба Витуса Беринга похожа на судьбу Иисуса Христа, до конца пронесшего свой крест. Усугубляется доля Витуса Беринга тем, что он, к тому же, взялся за нелюбимое дело.)

– Дайте краткую характеристику времени, которое воссоздает в своем романе А. Кердан. (это первая половина XVIII века: «Весна 1732 года выдалась ранняя». А еще допросный лист вещает: «Майор Павлуцкий, начальник Анадырского острога, отправил летом 1732 года от Рождества Христова Бот под началом подштурмана Ивана Федорова, у коего я, Михайло Гвоздев, состоял в помощниках, для проведывания Большой земли. Она, по слухам взятым от чюкчей, лежит за проливом неподалеку от Ледяного мысу...» (с.56); еще свежа в памяти потомков деяния Петра Великого, но в основе повествования годы правления Анны Иоановны, вернее – Бирона)...

Итак, первая экспедиция под началом Беринга свершилась, и вот «17 апреля 1732 года был обнародован Указ кабинета Сенату об организации новой экспедиции на Камчатку» (с.70), а в эпилоге романа мы узнаем: «На обратном пути на Аляску иркутский купец Григорий Иванович Шелихов приказал капитану своего шитика завернуть на небольшой островок, расположенный в трех днях пути к

северо-востоку от Петропавловска. Этот затерянный кусочек суши с недавних пор на морских картах носил имя Беринга. Знакомые мореходы рассказывали Шелихову, что именно здесь и упокоился в 1741 году знаменитый командор (с. 379)

– Кто из героев романа вам запомнился. Чем? (Витус Беринг – непростой судьбой; Чириков, Гвоздев, Овцын, Дементьев – самоотверженным служением Отечеству; Стеллер – преданность науке; Шпанберг – лютой ненавистью ко всему русскому; Супруга Беринга – неистощимой предприимчивостью; Екатерина Ивановна Сулова – женственностью; Филька – неисчерпаемым оптимизмом, безграничной преданностью своему барину Аврааму Михайловичу Дементьеву...)

– Вопрос к автору романа А. Кердану, который устами одного из любимейших читателями героя Алексея Ильича Чирикова излагает;

«Сколько загадок таит только что открытая ими земля! Ведь до сих пор не ясно, что стало с Дементьевым и его спутниками. Какой крест выпал на их долю? Нет, чего бы мне это не стоило, а я должен отыскать их следы...» (с. 373): Входит ли в Ваши планы описать, как отыскивали следы Авраама Михайловича Дементьева? (ответ писателя был утвердительным.)

– Какие эпизоды романа произвели на вас наибольшее впечатление? (о детстве Витуса Беринга, о любовных похождениях Анны Матвеевны, о гибели Екатерины Ивановны Суловой и др.).

Теперь несколько размышлений собственно о романе. О его соотношении с прежними трудами автора.

Чтобы воссоздать картину мира, отдаленную от нашего времени почти на 280 лет, кроме писательского дарования, необходима кропотливая работа в архивах, что само по себе является источником достоверным, хотя и требует необходимого для исследователя отбора к систематизации «накопанного» материала, его интерпретации, а, следовательно, и личной мировоззренческой позиции.⁴

Уже в романе «Берег отдаленный» автор высказал свою точку зрения на роль личности в истории: «В долгих спорах ученых мужей о роли и месте личности в истории сломано немало ножей. В них поочередно одерживали верх то те, кто превозносил влияние лич-

⁴ Александр Кердан. Берег отдаленный. исторический роман в 2-х книгах. Екатеринбург. Со-крат. 2003, с.478-479

ности, то те, кто отрицал его. Но и первые, и вторые под личностью подразумевали только государей, полководцев, диктаторов, гениев. Словом, таких выдающихся людей, которые самим своим положением или талантом просто не могли не влиять на современников и на свое время. Однако, говоря об обычных людях: чиновниках, смердах, солдатах, тех, кого называют «народом», обе стороны почему-то лишали их индивидуальности, а, следовательно, и права влиять на те или иные события. Эти повседневные события, на первый взгляд, не являющиеся значимыми, по сути своей, как кирпичики стену, составляют историю каждой страны и всего человечества в целом».

Реализуя свой взгляд на роль личности в истории, автор стержнем романа «Берег отдаленный» сделал познание людей из народа: «чиновников» Кирила Хлебникова, Александра Баранова и др. «смердов» Абросима и Ивана Плотниковых, «солдат» Януша Евглевского, Евлампия Федорова, Павла Кошелева, а в романе «Крест командора» – «чиновников» Тайной канцелярии Андрея Ушакова, Николая Хрущова, Авраама Деменьтьева, «мореманов» Николая Головина, Витуса Беренга, Алексея Черпакова, Дмитрия Овцына, Михайлы Гвоздева, «смерда» Фильки Фирсова, солдата Ивана Окулова, казака Фомы Лепеха, матроса Шаламова, «ученых мужей» Михаила Аврамова, Стеллера в жесткой борьбе не только обстоятельствами, но и носителями зла в его конкретно-образном воплощении.

Великая Сибирская (Вторая Камчатская) экспедиция свела для выполнения одной задачи людей не только разных сословий, но и разных конфессий: православных, протестантов, язычников («И те, и другие – все мы братья во Христе...» – прошептал командор).

И каждый из этих людей, по мнению писателя, вложил свой «кирпичик» в стену истории страны и всего человечества.

И в «Береге отдаленном», и в «Кресте Командора» есть центральные личности, обладающие государственным масштабом мышления: в первом романе это – А.Пушкин, во-втором – Петр Великий. Но если центральными фигурами романа-диалогии «Берег отдаленный» являются Александр Сергеевич Пушкин и Кирилл Тимофеевич Хлебников, то в романе «Крест Командора» – Петр I и народ. Его, Петра Великого, как принято сегодня говорить, энергетика, его представления о том, что позволит России стать ровень с Европой, вдохнов-

ляли «птенцов гнезда Петрова», а через них и весь российский народ на великие деяния во благо Отечества, на Вторую Камчатскую экспедицию – в том числе.

Если вчитаться внимательно, то в романе «Крест командора» постоянно ощущается присутствие Петра Великого. Памятные события и даты в жизни друзей и недругов России часто связаны с его именем или значительными свершениями.

Известно: государь-император не потакал ленивым и нечистым на руку (вспомним головокружительный карьерный взлет и стремительное падение пирожника Сашки Меншикова», Григория Григорьевича Скорнякова-Писарева...), зато «запоминал» преданных и честных, так, «из грязи в князи» был Петром выведен Андрей Иванович Ушаков, который с 1704 по 1724 годы прошел путь от солдата Преображенского полка до сенатора, начальника тайной канцелярии. «Себя же почитал Ушаков просто истинным ревнителем государства Российского, оком государевым и опорой монархии». Таким же «ревнителем» выступает и капитан Чириков: в своем рапорте в Адмиралтейств-коллегию «он не токмо упрекает начальника своего в неисполнении инструкций покойного государя нашего Петра Алексеевича, но и докладывает о мошенничестве с казенным хлебом...»

Вызванный на аудиенцию, весьма оробевший пред своим грозным начальником Дементьев на вопрос Андрея Ивановича Ушакова, откуда имечко такое – Авраам? Ответил уже без дрожи в голосе: «...Батюшка мой назвал меня так в честь Авраама Петровича Ганнибала. Батюшка у них денщиком службу начинали. И Ушаков уже примирительно говорит: «Знавал я некогда крестника государева». (подчеркнуто мной. - Е.Ж.)

Екатерина Ивановна Сурова «родилась вскоре после Пасхи, через три года после того, как в 1700 году от Рождества Христова на Заячьем острове государем Петром Алексеевичем была заложена Петропавловская крепость (с.47).

Опальный сподвижник Петра, потомственный дворянин и петровский любимец Григорий Григорьевич Скорняков, читая допросы листы Михайлы Гвоздева об открытии земли, коя «лежит за проливом неподалеку от Ледяного мысу» (с.56), размышляет: «По всему

видать, еще большая земля не есть остров, а материк. Может, даже оный и есть та искомая Америка, которую велел покойный Петр Алексеевич сыскать еще в двадцать четвертом годе» (с.57). Он же вспоминает август 1723-го, когда «государь лично представляет свой старый переяславский ботик новым величественным фрегатом» (с.60).

А со слов вице-адмирала Сандерса «проект сей... царева постельничего Федора Степановича Салтыкова. И именно он... зарыл в душу Петра Алексеевича желание обрести Аниан. Еще, помнится, в 1715 году Салтыков ратовал за изучение всего побережья Ледовитого моря, дабы корабли наши могли свободно плыть от Двины до Амурского устья, и оттуда в Китай и Америку...(183). Время правления наследниц российского престола Анны Иоановны и «дочери Петровой» Елизаветы в романе А.Кердана «Крест командора» изображено так, что оно противопоставлено Петровским преобразованиям, а сиятельные особы – Петру Великому.

Вице-канцлер Остерман «на досуге перечитал книги Кантемира. Оценки князя, рассыпанные в его литературных сочинениях, насторожили вице-канцлера. Ну что это такое: «Ум незрелый, плод недолгой науки...»? О ком это он? Уж не обо всем ли российском дворянстве – детище преобразователя Петра? А может, того хуже – о самой матушке-импера...» – Остерман оборвал мысль незавершенной. Еще более кощунственной представилась она, облеченная в слова, пусть и не произнесенные вслух... Хотя что уж тут кощунственного? Кто-кто, а вице-канцлер знает истинную цену нынешней правительнице. Родной брат Иоганн учил Анну немецкому языку перед затеянной Петром Алексеевичем свадьбой с несчастным герцогом Курляндским... Только за несколько месяцев так ничего путного из сих занятий не вышло... Как не знала тогдашняя московская царевна немецкой грамматики, так до сих пор путается в спряжении глаголов... Властвовала в немецкой вотчине без малого девятнадцать лет, а так и не выучила язык своих подданных, как следует. Да и русский за годы жизни в Митаве почти позабыла. Так и правит огромной империей на двух ломаных языках!» (с.239).

А вот горькие раздумья о нынешнем и былом времени капитан-поручика Алексея Ильича Чирикова, «всегда чтящего закон»: «А ведь с такими вот русскими солдатами мы, казалось бы, непобедимого шведа одолели. Почему теперь без немчиков никак не обойтись не можем? Есть ведь и свои офицеры, ничем чужестранцев не хуже!

Благо Петр, родитель прогресса нашего, выучил многих, и за границей, и здесь. Слава Богу, есть еще те, кто помнит его завет: оградив Отечество безопасностью от неприятеля, стараться находить славу государства Российского через искусство и ходни. Токмо не ко времени сии петровские ученики пришли! Снова заморский ум ценится превыше российского! Поветрие сие с самого верха идет! Не зря и рыба гниет с головы...» (с.102). Взятая бразды правления Россией после Анны Иоанновны Елизавета Петровна, «на словах ратовавшая за продолжение дел своего великого отца, замечает писатель, будет столь далека от моря и морских исследований, как ее предшественники. География новой императрицы всегда будет казаться чем-то вовсе не интересным, далеким от реальной жизни. Елизавета Петровна до конца дней своих будет убеждена, что в Англию можно попасть посуху, в карете, и никто не сможет ее переубедить в обратном...» (с.374). «Одним росчерком пера она не только похоронила великие замыслы своего покойного родителя, но и перечеркнула беспримерные труды многих тысяч русских и не русских людей положивших все силы и здоровье на алтарь служения Отечеству, жiwота своего не пощадивших, раздвигая границы империи» (с.374).

Не о таких наследниках мечтал Петр. Вот как отзывается о нем его сподвижник Г.Г.Скорняков-Писарев:

«Вот это был потентант! Во все вникал, всегда был готов выслушать и дать дельный совет. Преданных людей берег, в обиду не давал... За справедливость любил Григорий Григорьевич великого государя и верен был ему до самой кончины. Ярились же на Петра Алексеевича те, кому не по нутру были его нововведения» (с.58). Тот же романый герой по другому поводу вновь размышляет о Петре Алексеевиче: «Он бездельников не любил, умел даже шутку в дело превратить. Целая армия выросла из его потешных полков. Флот российский поднялся от игрушечного ботика на Переяславльском озере. Государь любил повторять, что власть не может быть сама по себе ни целью, ни оправданием и становится непонятной так скоро, как перестает исполнять свое назначение – служить отечественному благу. Петр Алексеевич и сам жил для пользы и славы Отечества, не жалея здоровья и сил, и того же от всех подданных требовал».

Да, действительно, «рыба с головы гниет»... Вот где скрыты причины того, что «машина» экспедиции работала так неэффективно, что не жаждет подвигов во имя Отечества народ. Вот каким видит

его один из привлекательнейших героев романа Авраам Дементьев: «Он переводил взгляд на своих попутчиков – такое же человеческое «разнотравье»: солдаты, казаки, морские служители, каторжные. Эти хоть и идут без особой охоты, но все же по служебной надобности или по личной провинности. А вот польное семя – крестьяне и рабочий люд, согнаны из своих деревенок и заводиков, оторваны от привычного дела: для них экспедиция – как тяжкое ярмо, от которого поскорей бы избавиться. Поодаль от остальных кружком сидят тунгусы и якуты – проводники. Так и косятся на тайгу, ищут возможность, чтобы дать деру...» (с.131).

Простой народ представлен, мы уже об этом упоминали, многими сословиями, но особенно тщательно, на наш взгляд, создан образ слуги флотского мастера, а также и чиновника для особых поручений Тайной канцелярии Авраама Михайловича Дементьева Фильки Фирсова (по утверждению автора, его факсимиле он сначала придумал, а после раздобыл подтверждение факту его существования в архивных документах). Душа Фильки – душа русского человека из простонародья в различных ипостасях: он и неунывающий весельчак, балагур из-за невоздержанности языка, хвастливости которого погибла любимая женщина Дементьева, он же готов на подвиг самопожертвования ради своего «родненького» барина, он и бабник, и мастер на все руки, он же способен в нужный момент поднять «градус» настроения Авраама Михайловича.

В Фильке просматриваются черты как героев русских народных сказок (Иванушки дурачка, Емели, Шиша), так и литературных персонажей, таких, к примеру, как мужик из знаменитой Салтыковской сказки «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», а также героев Шергина и Шишкова...

Его, Филькина, речь в большей степени, чем у других персонажей романа – образная, яркая – насыщена элементами устного народного творчества: песнями, пословицами, поговорками, притчами, бессмысленными прибаутками, небылицами – перевертышами, байками, сказками...

Вот один из образчиков его речи: «Это я, барин, по себе знаю: ежели токмо влюблюсь, люблюсь во весь рот, хочь завязки пришивай. Все кругом мне добрыми кажутся. Дождь ли, пурга, а для меня

все – ведро. А уж если сударушка на мой амур конфузу мне не делает, тут сияю, как блин в Масленицу»... (с.182).

Итак, роман о великой экспедиции прочитан. Открыты новые земли. «Невозможное стало, возможным». Но вот плодами открытия российскому государству воспользоваться в полной мере не удалось... Об этом, насколько мне известно, следующий исторический роман нашего земляка. Жду его с нетерпением.

Лола ЗВОНАРЕВА

ПОБЕДЫ И ПОРАЖЕНИЯ КОМАНДОРА

Кердан А. Крест командора: Роман. М.: Вече, 2010. – 384 с. (Исторические приключения) 5000 экз. ISBN 978-59533-4860-7

Известный уральский писатель Александр Кердан написал третий в своей жизни исторический роман – «Крест командора», посвященный знаменитому путешественнику Витусу Берингу (1681-1741). Это оригинальная писательская версия судьбы известного датского мореплавателя на русской службе, с элементами развенчания популярного мифа и увлекательной приключенческой фабулой.

Все чаще наши авторитетные прозаики обращаются к XVIII столетию – переломному для России. Вспомним романы Василия Аксенова «Вольтерьянцы и вольтерьянки», Бориса Евсеева «Евстигней». В эту же богатую конфликтами и придворными интригами эпоху погружает читателя и Александр Кердан.

Образ креста, вынесенный в заглавие романа, по мере чтения книги начинает ассоциироваться у читателей не только с конкретным кипарисовым крестиком, обнаруженным датским подростком Витусом в незасыпанной могиле казненного кем-то человека, но – что гораздо важнее! – с жизненным крестом выдающегося мореплавателя – необходимостью нести в чужой стране вдали от Родины тяжкий груз служебных и семейных обязанностей.

Знаток женских душ показал себя уральский писатель в этой книге. Пресыщенная и капризная императрица Анна Иоановна,

благородная и нежная Катерина, ветреная и корыстная супруга Беринга, постоянно мечтающая о богатстве, титуле адмиральши и постельных радостях Анна Матвеевна... Несостоявшаяся адмиральша чем-то неуловимо напоминает героиню известной чеховской новеллы «Анна на шее».

В новом романе Александра Кердана отразились различные грани его одаренной и сильной личности. Отдавший немало лет поэзии, писатель необычайно внимателен к слову.

Пластично и ярко, поэтическим пером написаны, показаны в движении и выразительно озвучены пейзажи далекой Дании, сановного Петербурга и родной для автора Сибири: «Ружейными выстрелами лопаются на морозе промерзшие стволы кедров и елей. Закуржавленными макушками подпирают они серое сукно небесного свода. Скрипят, заунывно постанывают полозья саней. Тот там, то тут, разрывая эти монотонные звуки, сухо щелкают кнуты. Закутанные в долгополые нагольные тулупы возчики упрямо подгоняют заиндевелых, дышащих с натугой коней. Невзирая на кнуты и брань, еле-еле ползет неповоротливый обоз по узкой просеке, вырубленной в сторону восхода».

Зрелое мастерство писателя заставляет вспомнить слова И.А. Бунина, написанные в 1945 году, когда писатель перечитал исторический роман своего друга Марка Алданова: «Точность, чистота, острота, краткость, меткость – что ни фраза, то золото...»

В живых диалогах многочисленных персонажей, каждый из которых имеет свою «чудинку», точно найденную писателем психологическую деталь, «гремучая смесь» разговорного языка XVIII века – прихотливая мозаика из старославянских, русских, немецких, датских слов и латинских поговорок – дает ощущение противоречивой атмосферы эпохи. Того взбаламученного времени, когда все в России очередной раз перевернулось и вновь искало свое истинное место в пестром российском социуме.

При этом карьерные устремления одних персонажей и самоотверженное стремление достойно послужить Отечеству других героев романа неизменно сталкивались с неизживаемыми веками российскими пороками – завистью, подлостью, доносом, клеветой, корыстью, взяточничеством и воровством.

Окружение императрицы, церемонная придворная жизнь с ее чинными приемами и постоянными интригами, покой знатных сановников и квартиры служилых людей, тяготы военной службы и истории вознесения и падения очередного фаворита – все эти не пересекающиеся круги русской общественной жизни, по воле автора, оказываются в центре читательского внимания, заставляя нас, по мимо своей воли, сравнивать день нынешний и день вчерашний.

В этом прекрасном и яростном мире сплетня или клеветнический донос способны убить человека (как это и случилось со скромной и преданной гражданскому мужу Катериной, зверски избитой сожителем в приступе внезапной ревности и тайно захороненной им вместе с мертворожденным младенцем).

Александр Кердан, являющийся к тому же доктором культурологии, демонстрирует читателю, как сталкиваются, разбиваются друг о друга и прихотливо сосуществуют на гигантских российских просторах различные культурные миры. В огромной России пытаются выжить и состояться датчане и немцы, воспитанные на иных ценностях и традициях и приехавшие из своих бедных и провинциальных стран в богатую и щедрую Россию на ловлю счастья (читай – денег) и чинов. И все же многие из них – в меру собственных сил, дарований и личной порядочности стремятся послужить за достойное вознаграждение кто – сильным мира сего, кто – новому Отечеству.

Колоритно выписанная Александром Керданом стихия русской народной жизни – с ее прибаутками, пословицами, игрищами, шутками и песнями, непонятна большинству из них. Но с немецкой настойчивостью и усидчивостью они стремятся разобраться в ней и выйти на ключевые позиции, нередко ощущая глубокую чуждость традициям и понятиям, веками царящим на этой плодородной, населенной сильными и одаренными людьми, постоянно бурлящей и меняющейся земле.

В Сибири к этому внутреннему, веками длящемуся противостоянию России и Европы, остро обсуждавшемуся западниками и славянофилами, с XVI столетия присоединяется еще одна мощная стихия – языческих верований местных народностей, доверяющих своим шаманам и идолам и с оружием в руках противостоящих жестокому грабежу и насилию со стороны новоявленных колонизаторов.

Как и у авторитетного прозаика-историка Русского Зарубежья Марка Алданова, главная тема исторической прозы Александра Кердана – подведение итогов отдельной человеческой жизни в контексте конкретного исторического времени. Весной 1950 года Алданов писал: «Книги и картины, или ученые труды человека живут пятьдесят лет, музыка – немного дольше. Приблизительно столько же хранится память о человеке, который памяти стоил, хотя бы ни одной строчки он не написал. Затем забывают по-настоящему – как что-то, а не как звук, – и тех и других. Есть счастливые исключения, но ведь, скажем правду, они в громадном большинстве случаев «бессмертны» мертвым бессмертием. Никто ведь, правду говоря, не читает ни Данте, ни Аристофана, или читают их раз в жизни, в молодости, чтобы можно было больше к ним никогда не возвращаться... Помнят имя». Благородная задача писателя-историка – напомнить внимательным читателям достойные имена тех русских талантов из провинции, кто, подобно капитану Алексею Ильичу Чирикову, был обречен на вторые роли, хотя внес серьезный вклад в исследование и освоение необъятных просторов русского Севера.

Далеко не всех из тех, кто был рядом с первопроходцем Берингом в самых сложных походах и экспедициях, в то время оценили по заслугам. Именно об этих людях удалось писателю сказать свое страстное и талантливое слово, вписав имена несправедливо забытых рядовых истории рядом со знаменитостями в Книгу Благодарной Памяти Земляков.



В гостинной встреча новых лиц...



Андрей ФРОЛОВ

НАБАТ

Даже глухие его услышали.
Даже немые вскричали в ответ...
Он разрастался, уже не стихая,
Мощной волною врвался в рассвет!

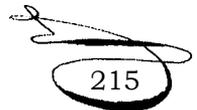
В небе клубился и падал отвесно,
Людям до крови сжимал кулаки.
Волей своей заострял повсеместно
Вилы и косы, и просто штыки.

Гулкий,
тревожный,
надрывный,
натужный,

Как предвещение близкой беды...
Даже безрукие взяли оружие.
Даже безногие стали в ряды.

ПАМЯТЬ

Отец шагнул в родимый дом
Из огненного круга.
Четыре года сын с отцом
Не видели друг друга.



Война впечатала свой след
В их судьбы, точно в глину.
Отцу исполнилось сто лет,
Четыре года – сыну.

Суровый, будто трибунал,
Молчит в дверях мужчина.
Пацан родителя узнал,
Тот не припомнил сына.

* * *

Надсадно выла автострада,
Горячим выхлопом дыша –
Через шоссе валило стадо
Размеренно и неспеша.

Тяжеловесны и угрюмы,
Как будто спали на ходу,
Коровы медленную думу
Жевали, точно лебеду.

И снисходительная жалость
К людской извечной суете
В глазах косящих отражалась,
Как в застоявшейся воде.

ВОРОЖЕЯ

Ходили слухи: бабка ведьма,
Мол, ей и сглазить – плюнуть раз.
Давно пора ей помереть бы,
Да ведьмам слухи – не указ.

Вот и жила неторопливо,
Мирясь со злобой языков,
И взглядом жгучее крапивы
Стегала души земляков.

Скупа на ласковое слово,
Копной волос белым-бела
И подозрительно здорова...
До той поры, как померла.

С кончиной каверзной старухи
Утихомирилась молва...
А на девятый день округе
Хватать не стало волшебства.

Виктор МИЩЕНКО

* * *

Лето позади.
Тайный наш роман
Хмурые дожди
Спрятали в туман.

От недобрых глаз
Чутко берегут.
И в душе у нас
Часики идут.

Часики спешат
Ускоряют ход
Тихо говорят:
Счастье к нам придёт.

Еле слышен ход.
Часики идут.

А душа поёт,
Если где-то ждут.

* * *

Зачарованно смотрю
В глубину очей бездонных.
Вижу алую зарю,
Что встаёт над морем сонным.
Лишь тебе, тебе одной
Быть зарёй над морем зыбким.
Словно парус над волной,
В мир летит твоя улыбка...

НОВОГОДНЕЕ

Праздник таинственный, снежный и чудный
Вновь ты пришёл лунной ночью безлюдной.
Будто бы в вечность распахнуты двери:
Будет ли счастье? Ты веришь? Я верю!

Сладость шампанского, вкус апельсина,
Ель новогодняя, звук пианино
Нежно мелодией душу врачует.
Верить мечтам своим очень хочу я.

Выстрелом в полночь взорвётся хлопушка.
Сердце от боли сожмётся: игрушка
Та, что так в детстве любил я когда-то,
Тускло мерцает меж веток лохматых.

Время, что так быстротечно летело,
Сказочной птицей на ёлку присело.
Лишь на мгновенье оно задержалось –
Прошлом с будущим здесь повстречалось.

ЗАПАХ ХЛЕБА

Со скрипом открывается фургон,
Буханки на лотках поглядывают в небо.
Их продавец сдвигает, и кругом
Все начинает пахнуть свежим хлебом.
Дома, деревья, птицы, рыжий кот...
Когда лотки всплывают в двери магазина,
То кажется, что он огромный рот,
Как чудище, от жадности разинул
И хлеб глотает прямо на глазах,
Оставив нам лишь запах на одежде,
Который не поймать и не связать,
Как призрак ускользящей надежды.

КОЛОДЕЦ

Заохало эхо в колодце заброшенном,
Стремится к воде перекатами звук,
Вращаясь, как ворот, который непрошено
Хранит теплоту человеческих рук.

И небо в конце. С наступлением сумерек
Там звезды, как бисер, и рядом – луна,
И сразу теряется благоразумие,
И тянет к себе, как магнит, глубина...

ЗАТМЕНИЕ

На двор, где до этого буйствовал день,
И солнце, сверкая, струилось по крыше,

Легла мрачно-лиловая тень,
И стало так грустно, как будто бы вышел
За дверь человек бесконечно родной,
И стало тревожно – а вдруг не вернется,
И в жизнь навсегда уже будет иной,
Как будто навечно – затмение солнца.

* * *

Прикоснулась к корням,
Вновь припала к истокам,
Напоили меня
Здесь живительным соком
Эти лес и река,
Что достались в наследство
На года, на века
От далекого детства,
Где за рыжей горой
Притаилось болото,
Там ночами порой
Плакал жалобно кто-то.
Мне печаль иногда
В сердце снова стучится,
И неясно тогда:
Плачу я или птица...

* * *

Мокрый асфальт, тонкий запах сирени,
В лунном мерцании робкие тени.
Запах тончайший незримо струится,
К ветке сирени склоняются лица.

Двое – губами к цветкам прикоснутся,
В жарком объятии руки сомкнутся.
Вечным останется это мгновенье –
Запах сирени, запах сирени...

* * *

Какое пламя в небесах,
Какое пламя!
И облака, как паруса,
Плывут над нами.
И гомон ласточек стоит
Неудержимый.
Над лугом бабочка скользит
Все мимо, мимо.
Вонзают сосны в облака
Верхушки-стрелы,
Где небосвода край слегка
Подкрашен белым.
Шмель загудел и полетел
Своей дорогой.
Наверно, он сказать хотел:
«Меня не трогай!»
И космы тучи разметал
Беспечный ветер.
Себя не зная, красота
Царит на свете!



И назовет меня всяк сущий в ней язык...



Мария ВАГАТОВА

ВЕСНА ПРИШЛА

Река покрыта льдом пятиаршинным –
Не услышать дыханья бурных вод.
И ждёт река, что – сказочно-всесильна –
Красавица Весна вот-вот придёт...

Она цветами землю разукрасит,
В зубах у Солнца хрустнет чёрный лёд,
Когда светило на своём обласе
С Весною вместе к хантам приплывёт.

И запоют речные перекаты,
И птицы будут их перепевать,
И девушка, грустившая когда-то,
Весною перестанет горевать.

Её душа наполнена весною,
И, как ответ на мучивший вопрос,
Той девушке колечко золотое
Любимый этим утром преподнёс.

МУЗЫКА МОЕЙ ЗЕМЛИ

Со свистом и воем бушует буран,
Как старый косматый колдун.

Он жгучие вихри вздымает с утра
На обском заснеженном льду.

Как ты ни старайся – не видно не зги,
Но вышел вперед человек,
Сказал он, что люди сильнее пурги
И поднял морозы на смех.

Он новую песню запел среди снегов –
Сплелись в ней в одно на века:
И рёв вездеходов, и важеньки зов,
И звуки пещни рыбака.

Он сердце своё распахнул для других,
Тепла своего не жалел.
И нефтью, добытой на буровых,
Приобье моё отогрел.

Перевод с хантыйского А.Кердана

Лана ШАНГИНА

* * *

Есть ли главнее, чем эти слова,
Падают листья иль город завьюжен:
– Ты так нужна мне!
– Ты мне так нужен! –
Кругом от счастья идет голова.
Эти слова нас хранят, будто щит,
И даже если немножко взгрустнется,
– Ты так нужна мне!
– Ты мне так нужен! –
Музыкой ветра в душе прозвучит,
Лучиком солнца в глазах отзовется.

* * *

И пока под крылом
Не остались одни облака,
Мне фантомным теплом
Отзывалась твоя рука.
Долгожданность несбыточных встреч –
Невесомости анабиоз –
Все запомню и буду беречь,
Удивляясь: неужто всерьез?..
И в тумане густом
Лайнер плыл, неспеша...
Мне фантомным теплом
Отзывалась твоя душа.

* * *

Ты не думай, что стану жалеть и каяться
И думать, что все это зря.
Посмотри за окно – опять смеркается,
Вечерняя гаснет заря.
Ну, что на губах моих ищешь губами ты,
Каких недосказанных слов?
Как горько мне от переполненной памяти
И странного слова «любофф».

* * *

Вот так теряют самых преданных друзей,
Чтобы затем остаться в пустоте,
Привычные, как воздух, как земля,
Уходят молча, отвернув лицо,
Чтоб не увидел ты укор в глазах,
Хотя, ты не заметишь все равно.

Ты счастлив в круговерти новых лиц,
Улыбки, комплименты чередой...
И только – пусть хранит тебя Господь,
Когда ты вдруг поймешь, что одинок.

* * *

Я поняла, что никогда не бросим
С тобой друг друга.
И снова переходит осень
В шальную вьюгу,
А нам с тобой теперь осталось –
Согреться рядом.
И мы несем свою усталость
Уснувшим садом.
И нам до счастья осталась малость,
И грусть развеет.
Друг друга никогда не бросим –
Мы не успеем.

* * *

Новая осень пришла,
Иней обжег траву.
Знаешь, я поняла –
Я без тебя проживу.
Листья по льду скользят,
В воздухе пахнет зимой...
Знаешь, прожить нельзя
Лишь без себя самой.

Авторский перевод с итальянского.

ДЕД

рассказ

Перед заходом солнца вершина горы на окраине села покрывается мглой, легкими прозрачными облаками, чьи тени, разделяющие тени деревьев, тянутся, превращая лес в слитность.

Молчалива, величава гора, и только высокий, величественный полет раздельно парящих коршунов прерывает это молчание.

На склоне горы и в окружении леса, взвалив на себя вековую усталость, дремлет деревня. Наступает вечер, и шум стада, спускающегося с горы, сливается с вечерней прохладой, катится в деревню, навевает деду дремоту.

– Джан, джан, – ласково шепчет дед, сквозь закрывающиеся веки, устремляя взор на склон горы.

Долго жил дед, устал.

Ложится он на старую железную кровать под тутовым деревом и тоскует: постарел.

Иногда через силу встает он и идет в центр деревни, слушает, как сельчане обсуждают решение о переделе земли, начинает радоваться, сердцем трепетать – каждый клочок ее начинает видеть разгороженным и тотчас начинает видеть, как смотрят на эти клочки другие старики деревни. Видит он, как они смотрят. Но, вопреки их взгляду, светлый луч бродит по его окутывающейся туманом голове, принося давно ушедшее наслаждение от прихода весны, трепещет у него под сердцем, трепещет, да тут же быстро начинает ныть: слишком поздно все это для него.

Долго жил устал.

Каплями дождь застучал ему в поношенную шляпу. Он по шляпе провел рукой, по глазам. Мокрая рука скользнула по лицу, скользнула и, твердая, беспомощно упала на колени.

Дождь пошел ливнем, и старая шляпа полями свисла с головы, будто уперлась в плечи, которые он, будто под их тяжестью, еще более опустил. Мысленно он блуждал по полям предков, по их земле,

ругая тех, кто ее когда-то украл, завладел ею. Украл, завладел, но ее не видел, за огромными списками «перевыполнивший» не видел ее трещин и теперь привел к пустым амбарам, отпрянул от их пустоты, закричав: нет ничего! – сам же в предвестии голода в укромном местечке кое-чего припрятал.

«Мудрые были!» – подумал дед и погрустнел.

Да, был голод, обозлились.

Вспомнил он разрушенный от землетрясения свой старый дом, обвалившиеся из-за мышиных нор стены, вспомнил будто хлевную вонь подвала, шатающийся балкон – когда-то это называлось домом, его домом, а для его сыновей – цветком раздора. Два сына погибли, а семеро отделились, ушли, оставили, посчитав развалину роскошным дворцом для овдовевшей невестки, осиротевших внуков. Обвалился дом от землетрясения. И кое-кто из начальств подсчитал, что похищенного у народа не достаточно, потянул руки в карманы сердобольных людей других стран, получил помощь. А он, оставшийся без дома, всеми покинутый, немного пожил у старшего сына в подвале с сырыми стенами, под ворчанье его жены и под гордый запрет осиротевшего внука – не ходи! А он пошел и получил поношенное пальто не известно из какого округа Франции, от какого рабочего. Он был доволен, а внук сердит:

– Иди отдай раздающему, пусть оденет своего отца!

Нет, он был доволен, за всю жизнь он не надевал такого пальто. Он ложился на ржавую кровать под дверью, прикрывался им. Было тепло, хотя чувство одиночества все равно не покидало. И новый дом стал строить для внука, а все равно был одинок и покинут.

Теперь старая кровать стояла под тутовым деревом, от него веяло прохладой. Он прислушивался к шелесту листьев, вбирающих в себя шепот крыльев птиц, бесконечно парящих в небе, в душе у него была странная боль, под потяжелевшим телом – скрежет старой кровати. И никому другому не было дела до его тоски.

Дождь лил, а он сквозь шелест листьев слышал шум возвращающегося стада, мечтал снова быть пастухом, снова одиноко и властно, одиноко и величаво войти в глубь леса на зеленых горах, оказаться далеко от взмучённого села, человеческой ненависти, от отступивших сыновей.

Бездомная собака, боязливая и слабая, примостилась к его кровати. «Бездомный к бездомному пристает,» – подумал дед, и тревожная дрожь пробежала по телу. Уже в те времена сыновья редко приходили в деревню – и то по необходимости. Он глядел на тяжелую ношу, что они уносили с собой, а мыслью видел тяжелую ношу, что ложилась на сердце. Была у него красная лошадь, как с другом беседовал с ней, изливал душу в часы одиночества. После смерти жены все стадо продал, сын обещал увезти его в Россию, в свой дом.

Ожидал, хвалился, хвалил сына, гордился им, а сын приехал с приказом невестки на пригнутых плечах: не привози! Приехал и сказал: «Не сможешь ты жить в России». «Мне жить! Почему не смогу? Ты только возьми с собой!» – рассердился дед. Не увез, не взял, побоялся, обманул. Рассердившись, взял на плечи жалость односельчан, подтянулся – ведь не один.

Скопил пенсию и поехал в Ереван.

Там его хорошо встретили, однако на третий день сын сказал:

– Отец, давай я тебя провожу, мы уходим на работу, а ты дома остаешься один.

Захотел крикнуть, что он всегда одинок, даже когда они рядом, но не захотел огорчать сына. Взял свое поношенное пальто, нашарил в кармане две монеты и пустился обратно. А потом подумал о следующем сыне, и без всякой надежды побрел к нему, греясь только маленькой надеждой в сердце: «Машину он купил на мои деньги!» А что... Хорошо еще, что сын на машине отвез его домой – в кармане две конфеты и пачка сахара. И так семь раз. И только когда внук построил дом, сказал:

– Все, дед, ты никуда не поедешь, здесь твой дом.

Наполнилось теплом сердце, но вспомнил старшего сына, захотелось еще у него испытать судьбу. Первой выскочила невестка с растрепанными волосами, с посиневшими от злости губами, прокричала:

– Иди прочь! Пусть о тебе позаботится та, чьи сироты ели твой хлеб!

«Она позаботится, вы подумайте о себе, – подумал он и поглядел на подавленного сына: – Пострел ты, сын мой!»

Возвратился к внуку:

– Уведи меня в дом престарелых.

– Стыдно, дед. Ты отсюда никуда не уйдешь, – возмутился внук.

Дождь постепенно прекращался. Со склона горы клубами спускалась на лес мгла, местами покрывая зеленые склоны, там, извилисто кружась, дождевые ручьи тащили опавшие сухие листья, образовывали у морщинистых корней деревьев мелкие лужи.

В разгаре была весна. Внук и мать получили земельный участок. Он устало и без сил смотрел на них и радовался. Была бы жива жена, дала бы в руки лопату и сказала: «Иди, вскопай землю, жалко». А когда узнала бы, что еще и раздают скот, то тотчас бы отправилась в горы. Некогда они вдвоем держали совхозный скот в горах, ухаживали, жена всегда всем довольная, а он в тоске. Вся жизнь так и пролетела: зимой в деревне, летом в горах. В горах – лес, малина, коровье мычание. И он. Всегда один, с устало возвращающимся стадом, неся скошенную траву и сердечную боль от предавших его сыновей. Иного будто для него и не было. Весь мир как будто сузился до этого маленького горного склона, назначив его властелином. Деревья, пастбище, скот – слуги, а он – властелин: знай приказывай, – и никто теперь никому не прикажет, не потребует, никто не раздаст похвальных грамот, не обворует, каждый человек – хозяин своей земли и урожая.

Была у него красная лошадь с печальными глазами, вечно влажными, с опаленной солнцем гривой. Лошадь была помощником и другом, была здорова и красива, легким бегом кружилась она вокруг деда.

Из сыновей, не помнит точно, то ли Ваган, то ли Серо, поднялся в горы, старуха с пересохшими от испуга губами выскочила, дед изумился, а сын улыбнулся и сказал, что пришел за лошадью. Дед с кривой закаменелой улыбкой, старуха еще более сторбившись, переглянулись и замолчали.

– Что, отец, жалко? – сказал сын, притворно обижаясь.

– Нет, просто сейчас покос, а лошадь помогает, без нее тяжело.

– Ничего, обойдешься, она мне нужна, – сказал и увел.

Дед ждал три дня, оставил покос, спустился в деревню.

– Куда пошел, покос оставил, стадо, вернись, – ворчала старуха, но проводила его до края пастбища и встала, сторбившись, беспомощная, одинокая. Жалко стало старуху, ее горбатая тень стала еще более горбатой, стояла она, как сухое одинокое бесплодное дерево на краю леса. Развевающееся на ветру платье вызвало у него горькую ноющую боль, которая потом, во время агонии жены вылилась

у него в жалость: «Никогда себе не покупала даже того, что любила. Никогда не жила так, как хотела».

Подумал вернуться, но в ушах стояло ржанье лошади. Спустился вниз и узнал, что сын совершил кражу: украл саженцы из совхозного сада, посадил у себя в саду, в ногу лошади воткнулся гвоздь, кровь текла из копыта, и лошадь тяжело дышала. Глаза у деда налились кровью, плетью ударил сына.

– Как это так, чтобы мой сын украл? Мало мучаемся, я и твоя иссохшая мать, да, мало? – сказал и ударил.

Лошадь тяжело дышала, сын сидел под стеной и плакал. Собрал саженцы, дал в руки и сказал:

– Отнеси туда, где взял.

Завязал ногу лошади и вместе с ней поднялся в горы. Старуха ждала его, все еще ворча. Встал дед перед ней, как на партийной чистке, и сказал:

– Твой сын совершил кражу.

– Чтоб я ослепла, – согнулась старуха, потом, шепча молитву, присела у курятника.

В тот год лошадь умерла.

И в том году многие коммунисты разорвали свои партийные билеты, и вышло, что дед оказался единственно честным. А сын уже не плакал, а смеялся и говорил: «Давай мы тоже разорвем твой билет, он тебе очень мешал». Дед бережно завернул билет в платок и спрятал. Но в душе у него помутилось. Кровь била волнами, беспокойно билось оставшееся чистым его сердце. Мир перевернулся. А потом, когда беженцы из Арцаха, осиротевшие, оставшиеся без крова, нашли приют в Армении, он разорвал билет, но почувствовал, что уже слишком поздно.

Дед думал всю ночь, только на рассвете понял, что не сомкнул глаз. Стадо медленно уходило в гору, оставив просыпающемуся селу пыль от копыт и эхо удаляющегося шума.

Старая кровать была под тутовым деревом, от него веяло прохладой. Он прислушивался к шелесту листьев, в душе у него была странная боль, а под потяжелевшим больным телом скрежетала старая кровать, и все это было только его тоской, и никому другому было его не понять.

Перевод с армянского Арсена Титова

Друзья, прекрасен наш союз!

(хроника Ассоциации писателей Урала)



6 ноября 2010 года в Ханты-Мансийске состоялась XI конференция Ассоциация писателей Урала. С докладом «Состояние патриотической литературы в России и её региональный аспект» выступил профессор А.П. Быков (Екатеринбург). В работе конференции приняли участие главный федеральный инспектор по ХМАО Кузьменко Д.Б., заместитель директора Департамента информационной политики и связей с общественностью ЯНАО Прудникова О. Н., директор Департамента информационной политики и связей с общественностью ХМАО-Югра Бабицын Р.А. , директор Департамента культуры ХМАО-Югра Кармазин А.С., сопредседатель Союза писателей России Н.Ф. Иванов, секретарь СПР, лауреат Государственной премии России В.В. Сорокин. Конференция утвердила план работы на 2011 год. Координатором АСПУр на очередной срок был переизбран А.Б. Кердан.

В коллективные члены АСПУр была принята Удмуртская республиканская организация СПР (председатель Загребин Е.Е.).

6 ноября 2010 года в Медицинской академии состоялась научно-практическая конференция «Русская сибирская литература (история, сущность, современные проблемы)», в работе которой приняли участие писатели, филологи, студенты вузов Ханты-Мансийска.

В доме-музее народного художника России Райшева состоялась церемония вручения Всероссийской литературной премии им. Д.Н. Мамина-Сибиряка. Лауреатами премии стали В.В. Сорокин (Москва), В.Ю. Ерофеева-Тверская (Омск), В.Л. Михайловский (Нижевартовск), А.К. Белозерцев (Челябинск), Р.П. Рутин (Салехард).

Март 2011 года в серии «Библиотека российской поэзии» (соучредители : СПР, АСПУр, издательство «Маматов») вышел в свет томик избранных стихотворений Б.В. Бурмистрова (Кемерово).

28 апреля 2011 года состоялась первая церемония вручения Всероссийской литературной премии имени поэта-фронтовика Венедикта Станцева (соучредители – АСПУр, Уральское отделение Литфонда РФ, дочь поэта Е.В. Григорьева). Первыми лауреатами премии стали Н.Ф. Иванов (Москва), В.Ю. Дулепов и И.В. Очеретина (Екатеринбург). В церемонии вручения премии принял участие глава Екатеринбургa Е.Н. Поронов.

24-26 июня 2011 года в Каменске-Уральском состоялся международный литературный фестиваль «Рифейские встречи», в рамках которого прошло международное совещание молодых писателей, в которых приняли участие председатель Союза российских писателей (СРП) Светлана Василенко, сопредседатели СПР Геннадий Попов из Орла и Александра Кердан, сопредседатель СРП Арсен Титов из Екатеринбургa, секретарь СП Москвы Лола Звонарёва, председатель Эстонской организации Союза писателей России (СПР) Владимир Иляшевич, секретарь правления Союза писателей Белоруссии Сергей Трахимёнок, председатель организации СПР Молдовы Олеся Рудягина, заместитель председателя Харьковской организации СПР Леонид Мачулин, председатели региональных организаций СПР и СРП Валентина Ерофеева-Тверская, Сергей Бузмаков, Виталий Молчанов и другие писатели из 17 субъектов РФ.

В торжественном открытии форума приняли участие помощник главного федерального инспектора по Свердловской области Сергей Опарин, глава Каменска-Уральского Михаил Астахов, советник Губернатора Курганской области Владимир Усманов, представитель Министерства культуры и туризма Свердловской области Вера Литовская. По итогам совещания 7 молодых писателей рекомендованы для вступления в СПР и СРП, десять получили рекомендации на издание произведений отдельными книгами, двое для поступления в Литературный институт, двое – на Высшие литературные курсы. В 6 библиотеках города состоялись творческие встречи с читателями, а в ДК «Юность» большой литературно-музыкальный вечер, в котором помимо мэтров и молодых писателей приняли участие солистки концертной группы АСПУр Яна Чабан (вокал) и Елизавета Шубина

(фортепиано). Также проведен круглый стол по проблемам отечественной литературы в контексте мировой культуры (модераторы А.П. Расторгуев, А.Б. Кердан).

Июль 2011 года состоялось вручение Всероссийской литературной Премии «Белуха» имени Г.Д. Гребенщикова (соучредители: АСПУр, администрация г. Бийска, редколлегия журнала «Бийск»). Лауреатами стали филолог Татьяна Черняева (Барнаул), художник Евгений Крючков (Москва) и поэт Николай Крючков (г. Конаково Тверской области) – за статьи, иллюстрации и стихи, посвященные Г.Д. Гребенщикову.

Август 2011 года по итогам международного совещания в Каменске-Уральском вышел в свет сборник произведений молодых писателей «Каменский семинар-2».

Январь – ноябрь 2011 года в издательстве вышли в свет «АСПУр» десять книг, начата публикация новой серии «Библиотека семейного чтения» (автор проекта А.Б. Кердан, члены редколлегии А.Б. Титов, С.В. Шангина, В.К. Литовских).

Вышли в свет 3 номера газеты-журнала «Большая медведица» и десятый номер литературно-художественного альманаха «Чаша круговая».

5-6 ноября 2011 года в Магнитогорске состоялись XII конференция АСПУр и церемония вручения Всероссийской литературной премии им. Д.Н. Мамина-Сибиряка.

ОБ АВТОРАХ

Марина АЛЕКСАНДРОВА. Член Союза Российских писателей, заместитель председателя Содружества писателей Нижневартовска. Автор двух поэтических книг.

Василий АЛЕКСЕЕНКО. Родился и живет в Омске. Неоднократно участвовал и побеждал в молодежных конкурсах поэзии. Стихи публиковались в периодической печати. Участник международного совещания молодых писателей в Каменске-Уральском в 2011 году. Рекомендован для поступления в Литературный институт имени А.М. Горького.

Анатолий БЕЛОЗЕРЦЕВ. Родился в рабочем посёлке Лаишево Татарской АССР. Окончил заочное отделение факультета журналистики Уральского государственного университета. Работал в заводской газете «Челябинский металлург», редактором Челябинского областного радио и телевидения. Лауреат областной комсомольской премии «Орлёнок», всероссийской литературной премии имени Д.Н. Мамина-Сибиряка. Обладатель гран-при Всесоюзного фестиваля телевизионных молодёжных программ (1977), премии редакции «Советской России» за 2005 год. Автор многих книг прозы и публицистики. Руководитель писательской организации Челябинской области. Живёт в городе Челябинске.

Мария ВАГАТОВА. Родилась в 1936 году. Член Союза писателей России. Автор многих книг на хантыйском и русском языках. Живет в Ханты-Мансийске.

Светлана ВАСИЛЕНКО. Родилась в 1956 году в г. Капустин Яр Астраханской области, закончила Литературный институт имени А.М. Горького, Высшие сценарные и режиссерские курсы. Автор нескольких сборников прозы, переведена на многие языки. лауреат многих Международных и Всероссийских премий. Председатель правления Союза российских писателей. Живет в г. Москве.

Владимир ВОЛКОВЕЦ. Родился в 1953 году. Член Союза писателей России, автор нескольких поэтических книг. Живет в г. Югорске ХМАО.

Валерия ВОЛОЖАНИНА. Родилась в 1993 году в г. Северск Томской области. Участник Международного совещания молодых писателей в г. Каменск-Уральский в 2011 году. Живет в г. Томске.

Федор ВОСТРИКОВ. Родился в 1942 году в Самарской области. Автор 18 поэтических сборников. Много лет руководит литературным объединением «Тропа». Лауреат областных литературных премий. Награжден юбилейной Пушкинской медалью. Лауреат нескольких областных литературных премий. Живет в городе Перми.

Княз ГОЧАГ. Автор двух книг стихов. Член Союза писателей России и Азербайджана, Почетный гражданин города Пыть-Ях ХМАО.

Владимир ДЕНИСОВ. Родился в 1956 году в г. Свердловске, закончил Литературный институт имени А.М. Горького. Автор нескольких поэтических сборников, переводчик с башкирского языка. Член Союза писателей России. Живет в г. Уфе.

Анастасия ЖУКОВА. Живет в Ханты-Мансийске, учится в Югорском университете. Стихи публиковались в периодической печати. Участник международного совещания молодых писателей в Каменске-Уральском в 2011 году.

Евгения ГУТ. Закончила филологический факультет Уральского Государственного университета. Публиковалась в Интернете. Живет в Израиле.

Евгений ЖУКОВ. Родился в Свердловске. Преподаватель русского языка и литературы в одной из гимназий города. Кандидат педагогических наук. 20 лет руководит клубом «Слово» при Свердловской областной библиотеке для детей и юношества. Живет в Екатеринбурге.

Елена ЖУРОВА. Живет в Горнозаводске Пермского края. Заочно заканчивает Пермский университет. Работает в городской газете журналистом. Участница Всероссийского совещания молодых писателей в Каменске-Уральском в 2007 году.

Яна ЗАВЬЯЛОВА. Родилась и окончила среднюю школу в Кирове. Внештатный корреспондент молодежной газеты «Я расту». Стихи публиковались в периодической печати. В альманахе «Чаша круговая» публикуется впервые.

Лола ЗВОНАРЕВА. Родилась в 1957 году. Доктор исторических наук, академик РАЕН. Автор нескольких книг критики. Лауреат всероссийской литературной премии имени Д.Н. Мамина-Сибиряка. Главный редактор журнала «Литературные знакомства». Секретарь правления Союза писателей Москвы. Живёт в Москве.

Владимир ИЗТЛЯЕВ. Родился в 1050 г. Член Союза Российских писателей с 2004 г. Стихи публиковались в альманахе «Башня», г. Оренбург, «Чаша круговая», «Складчина», «Встреча» (Барнаул), «РКК» (Москва) и др. изданиях.

Александр КЕРДАН. Родился в 1957 году в городе Коркино Челябинской области. Сопредседатель правления Союза писателей России, координатор Ассоциации писателей Урала, автор 37 книг стихов и прозы, лауреат многих литературных премий, заслуженный работник культуры РФ. Живёт в Екатеринбурге.

Виктор КОЗЛОВ. Родился в 1937 году. Член Союза писателей России. Автор нескольких поэтических книг. Живет в Ханты-Мансийском автономном округе.

Сергей КОЗЛОВ. Член Союза писателей России. Автор многих книг прозы. Лауреат международной литературной премии им. В.П. Крапивина. Живет в Ханты-Мансийске.

Александр КОЗЛОВСКИЙ. Родился в 1967 году в городе Тюмени. Окончил Тюменский индустриальный институт и Тюменский юридический институт МВД РФ. Печатался в альманахе «Врата Сибири», «Литературной России», «Тюмень Литературная», коллективных сборниках. Автор двух прозаических и одной поэтической книг. Член Союза писателей России. Живет в городе Сургуте ХМАО.

Елена КОЛЕСНИЧЕНКО. Родилась в с. Полтавка Омской области, окончила среднюю школу. Стихи пишет с детских лет. Неоднократный участник и победитель областных и всероссийских конкурсов детского творчества. Автор поэтического сборника и многочисленных публикаций в альманахах и периодической печати. Участник международного совещания молодых писателей в Каменске-Уральском в 2011 году. Рекомендована для вступления в члены СП России.

Николай КОНЯЕВ. Родился в 1954 году в п. Нялино Ханты-Мансийского района Тюменской области. Окончил Омский филиал Всесоюзного заочного финансово-экономического института и Литературный институт им. А.М. Горького. Автор многих книг прозы. Лауреат премии губернатора ХМАО-Югры, Всероссийской литературной премии им. Д.Н. Мамина-Мибиряка, региональной литературной премии «Урал промышленный, Урал полярный». Ответственный секретарь Ханты-Мансийской окружной орга-

низации Союза писателей России, сопредседатель Ассоциации писателей Урала. Живет в Ханты-Мансийске.

Владимир КОРОВИН. Литератор. Живет в г. Озерске Челябинской области. Публикуется в литературных альманахах и периодической печати.

Владимир МАЗИН. Член Союза писателей России. Доктор культурологии. Живет в Нижневартовске ХМАО.

Александра МАЛЫГИНА. Родилась в Барнауле. Окончила филологический факультет Барнаульского педагогического университета. Стихи публиковались в периодической печати. Участник международного совещания молодых писателей в Каменске-Уральском в 2011 году.

Валерий МИХАЙЛОВСКИЙ. Родился в 1955 году. Член Союза писателей России. Автор четырех сборников прозы. Живет в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа. Лауреат премии губернатора ХМАО-Югры.

Виктор МИЩЕНКО. Окончил Курганское высшее военно-политическое училище. Служил в Советской армии. В настоящее время преподает в Харьковском университете. Член Союза писателей России. Автор нескольких книг стихов. Живет в Харькове. В альманахе «Чаша круговая» публикуется впервые.

Владимир МОРОЗОВ. Родился в 1953 году в село Кырчаны Нолинского района Кировской области. Член Союза писателей России, председатель Кировской областной писательской организации. Автор 25 книг прозы. Лауреат международного конкурса имени А.Толстого, премии имени Л. Дьянова, имени А.Филева, Н.Заболоцкого и др. Живёт в городе Кирове.

Борис НОСКОВ. Член Союза писателей России, автор нескольких книг стихов. Живёт в городе Кирове. Руководит литературным объединением при областной писательской организации. В «Чаше круговой» публикуется впервые.

Александр ОВСЯННИКОВ. Родился в 1952 году в селе Студенок Изюмского района Харьковской области на Украине. Автор восьми книг стихов и прозы. Член Союза писателей России и Союза российских писателей. Председатель Ямало-Ненецкой организации СРП. Лауреат всероссийской литературной премии имени Д.Н. Мамина-Сибиряка, региональной литературной

премии «Урал промышленный, Урал полярный». Живет в городе Муравленко Ямало-Ненецкого АО.

Ирина РЯБИЙ. Кандидат филологических наук, доцент. Член Союза писателей России. Несколько лет возглавляет Ханты-Мансийскую окружную писательскую организацию. Автор нескольких книг стихов. Живёт в городе Ханты-Мансийске.

Максим СЕРГЕЕВ. Родился в г. Екатеринбурге. Окончил Ургу. Стихи публиковались в периодической печати. Участник международного совещания молодых писателей в Каменске-Уральском в 2011 году.

Евгений СТАРКОВ. Автор нескольких книг стихов и прозы. Живет в Осинском районе Пермского края.

Антонина СЫТНИКОВА. Родилась в Сумской области на Украине. Окончила Харьковский политехнический институт. Работала на Орловском сталепрокатном заводе инженером-электронщиком. Автор трех поэтических книг. Живет в г.Орле. В альманахе «Чаша круговая» публикуется впервые.

Арсен ТИТОВ. Родился в 1948 году в Бирском районе Башкирской АССР. Сопредседатель Союза российских писателей. Автор 13 книг прозы. Дважды лауреат премии губернатора Свердловской области, лауреат Всероссийских премий им. Д.Н. Мамина-Сибиряка и Генералиссимуса А.В. Суворова. Председатель Екатеринбургского отделения СРП. Живёт в Екатеринбурге.

Владимир УСТЮГОВ. Родился в Республике Коми. Публиковался в периодической печати. Участник международного совещания молодых писателей в Каменске-Уральском в 2011 году. В «чаше круговой» публикуется впервые.

Андрей ФРОЛОВ. Родился в 1965 году в Орле. Автор поэтических книг «Старый квартал», «Над крышей снова аисты» и сборника рассказов «Конечная остановка». Стихи и рассказы публиковались в антологиях: «Наше время», «Русская поэзия. XXI век», в альманахе «Поэзия», журналах: «Роман-журнал. XXI век», «Простор», «Невский альманах», «Родная Ладога», «Молодая гвардия», «Десна», «Литературный Омск», газете «Российский писатель». Лауреат литературной премии «Вешние воды». Член Союза писателей России. Живёт в Орле.

Галина ЦЕЛИЩЕВА. Родилась в д. Согом Ханты-Мансийского автономного округа. Окончила Российский педагогический университет им. А.И.Герцена в Санкт-Петербурге, Литературный институт им. А.М. Горького, Высшие литературные курсы. Автор пяти поэтических книг. Член Союза писателей России, кавалер Золотой Есенинской медали, лауреат литературной премии им. А.П.Чехова, член-корреспондент Академии Поэзии. Живёт в Омске.

Павел ЧЕРКАШИН. Родился в 1972 году в селе Мужы Шурышкарского района Ямало-Ненецкого АО. Участник боевых действий на Северном Кавказе. Окончил филологический факультет Тюменского государственного университета. Член Союза писателей России, автор нескольких книг стихов. Лауреат конкурса Министерства внутренних дел РФ на лучшее произведение литературы о деятельности подразделений МВД. Живёт в городе Ханты-Мансийске.

Евгений ЧЕРНИКОВ. Участник Международного совещания молодых писателей в Каменске-Уральском. Автор поэтического сборника, неоднократно победитель городского Рождественского конкурса. Живёт в городе Каменске-Уральском Свердловской области.

Марат ШАГИЕВ. Родился в 1956 году. Автор шести сборников прозы. Член Союза писателей России. Живет в г. Миассе Челябинской области.

Александр ШАЛОБАЕВ. Родился в 1962 году в Каменске-Уральском. Работает заместителем начальника городского управления культуры. Член Союза писателей России. Участник боевых действий в Республике Афганистан. Имеет награды. Автор двух книг стихов. Публиковался во многих журналах, альманахах и коллективных сборниках.

Лана ШАНГИНА. Родилась в 1969 году в городе Реж Свердловской области. Автор нескольких поэтических книг, переводчик с итальянского языка и на итальянский. Член Союза российских писателей. Живёт в г. Реж Свердловской области.

Нина ЯГОДИНЦЕВА. Родилась в 1962 году. Член Союза писателей России. Автор нескольких поэтических книг. Лауреат премии им. П.П. Бажова. Живет в Челябинске.

ЧАША КРУГОВАЯ

Литературно-художественный альманах
№ 10

Редакторы-составители:
Кердан Александр Борисович
Титов Арсен Борисович
Коняев Николай Иванович

В оформлении использована графика Ю. Филоненко

Компьютерная верстка С.В. Шангиной

Издательство «АсПур»
620158, г. Екатеринбург, ул. Пушкина, 12

Сдано в набор 19.07.2010 г. Подписано в печать 00.08.2010 г. Формат 60 x 84 1/16
Бумага ВХИ-80. Печать офсетная. Гарнитура Baltica.
Тираж 500 экз. Заказ _____.

Отпечатано в ГУП СО «Режевская типография»
623750, г. Реж Свердловской обл.,
ул. Красноармейская, 22
Тел.: (34364) 2-15-32, 2-25-03